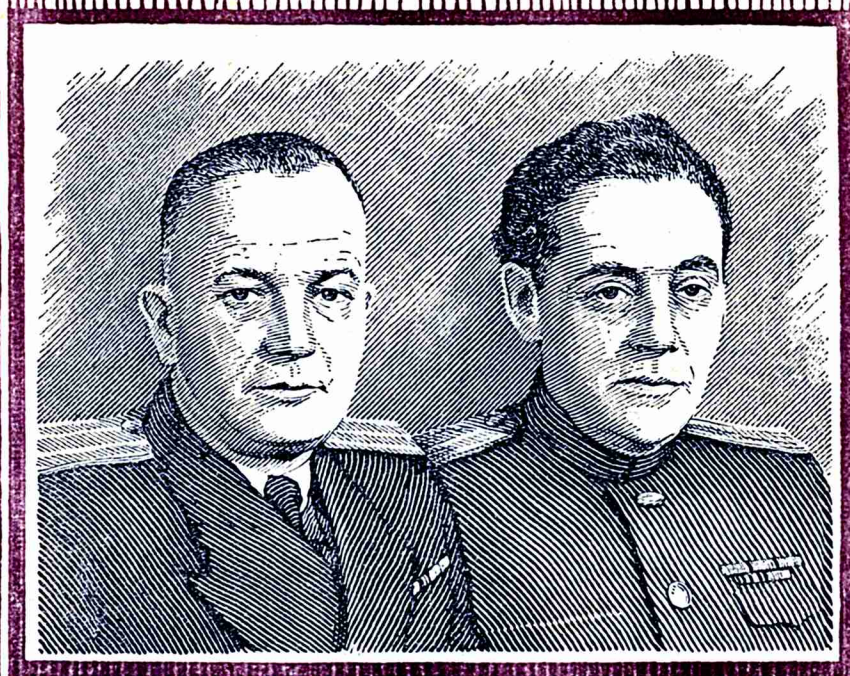


Роман-газета  
8(92)



**Л. ЗАЙЦЕВ, Г. СКУЛЬСКИЙ**  
**В ДАЛЕКОЙ ГАВАНИ**

*Окончание*

---

ГОСЛИТИЗДАТ

1953



# Роман-газета

## 8(92)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР. ГЛАВИЗДАТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1953

Леонид Зайцев

Григорий Скульский

## В ДАЛЕКОЙ ГАВАНИ

РОМАН

(Продолжение)

### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

#### 1

Едва брезжил рассвет, но на «Державном» уже давно никто не спал. На верхней палубе слышались негромкие, но резкие слова команды. Подобно растревоженным пчелиным роям, гудели вентиляторы, гоня в котельные воздух. Корабль срочно готовился к походу.

Кипарисов в блестящем ледериновом плаще, шуршащем при каждом его движении, озабоченный и строгий, обходил боевые части и службы. Время от времени старший помощник ровным и спокойным голосом, четко выговаривая каждое слово, делал замечания, ясные и лаконичные, как параграфы корабельных инструкций.

Приняв доклады о готовности оружия и технических средств, Кипарисов прошелся по палубе, осмотрел шлюпки, стойки штормовых лееров, предметы, которые могут в походе сместиться от качки. Остановившись у бухты стального троса, он приказал раскатать ее и лично проверил, надежно ли сращен трос в местах разрывов, не торчат ли где концы проволочных нитей, о которые матросы могут поранить руки во время авральных работ. Потом Кипарисов направился к ходовому мостику.

Стебелев, которому пришлось заново укладывать трос в бухту, проводил старшего помощника недовольным взгля-

дом. «Только и ищет, к чему бы придраться», — раздраженно пробормотал он. Стоявший неподалеку Головенченко если и не услышал слов Стебелева, то во всяком случае понял его настроение и, пригладив ладонью усы, сказал назидательно:

— Радоваться должны, что офицер все насквозь видит.

Боцман давно уже привык к педантичности Кипарисова, не оставлявшего без внимания никакой мелочи. Он не только не обижался на то, что старший помощник так тщательно и недоверчиво проверяет его, опытного моряка, который на своем деле что называется «собаку съел», но даже испытывал особое удовольствие от этой проверки, всякий раз подтверждавшей, что в боцманском хозяйстве полный порядок.

Кипарисов поднялся на мостик. Сквозь щель в неплотно прикрытой двери штурманской рубки он увидел склонившегося над картой командира корабля. Россинский, вертя между пальцами резинку, о чем-то докладывал Высотину. Круг света от лампочки в металлическом колпаке падал на лежащие на столе логин, справочники, карты.

Старший помощник зевнул в руку, достал папиросу, закурил. Попыхивая дымком, двинулся по железным мосткам надстроек.

Небо светлело. На сером, мутном горизонте пробилась полоска зари. Вода в бухте задымилась легким паром.

Отчетливо вырисовывались в белесой дымке рассвета темные громады кораблей; между ними во всех направлениях сновали катера и шлюпки. Еще мерцали на их реях огни. С одного взгляда на гавань Кипарисов безошибочно определил, какие корабли вернулись с моря, какие ушли ночью и какие только готовятся к походу. «Вот и тяжела и беспокойна морская служба, а ведь на другую ни за что не сменяю!» — подумал он, чувствуя в голове тяжесть от бессонной ночи.

Старший помощник увидел поднимающегося по трапу командира электромеханической боевой части. «У этого к походу давно все готово, проверено и перепроверено».

Кипарисов ценил и уважал Махотина больше, чем любого другого офицера на корабле. У инженера был свой служебный стиль, и этот стиль нравился старшему помощнику. «В чужие дела не вмешивается, свое знает до тонкостей, разглагольствовать попусту не любит». Кипарисов вспомнил, как недавно Махотин, отчитывая одного из своих офицеров, молодого, всем увлекающегося лейтенанта, сказал: «У каждого из нас есть свой ограниченный запас силы. Распределите ее на большую площадь, и тогда, как ни старайтесь, работу она произведет мизерную, а сосредоточьте ее всю на одном узком участке, и коэффициент полезного действия будет максимальный». И сама эта мысль и форма, в которой она была выражена, чрезвычайно понравились Кипарисову.

— Вышли подышать свежим воздухом? — спросил он, подходя к Махотину.

— Да.

— А у меня есть для вас сюрприз, Борис Александрович!

— Какой? — удивленно спросил Махотин.

— Был на берегу и купил для вас в киоске «Сборник шахматных этюдов». Новый. Только что прибыл из Москвы. — Кипарисов знал, что шахматы были единственной, кроме службы, страстью Махотина. И эта страсть казалась естественной и закономерной. «Механик — человек точной науки и игру любит, требующую точного, аналитического ума».

— Вот спасибо. Прямо скажу, одолжили вы меня! — сказал Махотин. Ему было приятно, что старший помощник, никому не выказывавший дружеских чувств, помнил и заботился о нем. — Хотите, я вас за это, Ипполит Аркадьевич, игре обучу?

— Нет, не стоит. — Кипарисов улыбнулся. — Вам шахматы по характеру и по должности подходят, а мне уж скорей что-нибудь вроде яхты...

Оба помолчали.

Над гаванью пронесся легкий порыв ветра; заскрипели, натягиваясь, швартовы. У самого борта «Державного» пролетела чайка; виден был ее острый клюв, которым она водила по сторонам, выискивая добычу.

— Все-таки замечательный пример, Ипполит Аркадьевич, дали нам верхнепалубники, — сказал Махотин, будто выражая вслух свои мысли.

— То есть?

— О почине Головенченко я, Озеров, Салиев уже беседы провели. Котельные машинисты взялись беречь горючее; турбинисты — машинное масло, обтирочный материал. Я примерно подсчитал, сколько можно сэкономить...

— Командир говорил об этом, — сказал Кипарисов. — Вам, Борис Александрович, и карты в руки. Обслуживать турбины, дизели, помпы одинаково что на заводе, что на боевом корабле. А вот в отношении боцманского имущества здесь, мне кажется, не все до конца продумано: краску сэкономишь, значит, где-то что-то ржаветь будет. А шарпаный вид у корабля? Бр-р!

— Речь идет о разумной экономии. Хороший хозяин расточителен не бывает, а красоту и порядок блюдет, — сказал Махотин. — Вы в данном случае не правы, Ипполит Аркадьевич.

— А об этом я слышал от замполита, — Кипарисов усмехнулся, — но каждый из нас может иметь свое мнение. «Державный» не какая-нибудь портовая лайба... Я хочу, чтобы у него был всегда приличный вид. И, знаете, не велика беда, если какой-нибудь лишний бочонок краски уйдет. Не к лицу морскому офицеру над ветошью трястись...

«Опять Кипарисов сел на любимого конька. Теперь его никакими тросами не стянешь», — подумал Махотин, а вслух сказал: — Ну и борода у меня растет! Пойду-ка наскоро побреюсь.

На мостике сигнальщик защелкал металлическими створками прожектора. Узкий световой луч прорезал утренний туман. На «Державном» приняли и отретировали сигнал с флагманского корабля. Засвистела дудка: «Походной вахте вступить». Кипарисов взглянул на часы: «Через пятнадцать минут начинается поход. Пора докладывать командиру».

Старший помощник несколько мгновений постоял, глядя на палубу, любясь той расторопностью и быстротой, с какой выполнялись последние отданные им приказания, и вошел в штурманскую рубку.

Высотин поднялся ему навстречу.

— А мы здесь без вас обсуждали предстоящее плавание, — сказал он, выслушав доклад Кипарисова, — теоретически я с морским театром уже знаком, а вот практически... Первый раз ведь во многих местах буду. Вот и хотел бы я, чтобы через Седые Буруны штурман лично «Державный» вел. А как вы думаете?

«Почему штурман, и я бы справился», — пронеслось в голове у Кипарисова.

— Безопасность кораблевождения нельзя строить только на доверии к штурманской части, — ответил он холодно.

Росинский склонил голову над картой. Он почувствовал себя неловко. Высотин спокойно продолжал:

— То, что вы говорите, конечно верно, — сказал он, — я и не думаю перекладывать всю ответственность на Николая Арсентьевича. Мы с вами вместе будем его контролировать. Но, знаете, Терентий Иванович мне говорил, что нет моряка на «Державном», нет и на всем побережье такого лоцмана, который знал бы этот пролив, как наш штурман.

Кипарисов подумал, что по существу командир прав, а о своем авторитете он должен сам заботиться, и, неохотно соглашаясь, сказал:

— Мнение капитана второго ранга Золотова совершенно справедливо. — Он достал папиросу. — Разрешите курить?

— Пожалуйста.

Заря разгоралась все ярче. На востоке цвет неба непрерывно изменялся: из серого становился нежно-голубым, из лимонно-желтого — ярко-красным. Верхушки рей стоящей на якоре учебной трехмачтовой баркентины отливали восковой желтизной. Над трубой «Дерзновенного» курчался дымок — там тоже готовились к походу.

— По местам стоять, с якоря и швартовов сниматься!

Эта команда заставила немедленно очнуться боцмана, задумавшегося о вчерашнем посещении интендантства. Матросы разбежались по своим местам. Донцов мгновенно оказался у шпилья. Стебелев на берегу секунду-другую провозился, сбрасывая с чугунных тумб петли швартовых.

— Живей, Стебелев, — гаркнул боцман, — живей!.. Сходно убрать! Кранцы за борт!..

В глубине корабля заработали турбины; вздрогнула палуба. Загромыхали по палубе ползущие в цепной ящик стальные звенья якорь-цепи.

— Якорь чист! — крикнул боцман.

Перегнувшись через леера, он смотрел, как омываемое хлесткими струями из шлангов веретено огромного якоря вошло в клюз.

Выход корабля в море всегда вызывал у Головенченко чувство душевного ликования. Горесть, досаду, все плохое и обидное в жизни он забывал в эти минуты. Наплывала неизъяснимая жажда движения. «Чисто отдать концы, все сделать, как полагается», — высшая гордость для боцмана. Так и сейчас... Если не считать нескольких мелких, случайных заминок, впрочем быстро исправленных, с якоря снялись образцово, всего на несколько минут позже «Дерзновенного». Но это не беда! Так или иначе нужно было идти «Дерзновенному» в кильватер!

Пенистый вал, изгибаясь, бежал за кормой. Справа и слева, как серые причудливые тени, проплывали скалы, острова, заросшие лесом. На флагманском корабле затрещал сигнал: «Счастливого плавания!»

«Державный» с развевающимся на гафеле флагом выходил из гавани.

Солнце медленно выплывало из океанских недр; оно отражалось бликами на воде, на стеклах иллюминаторов, на начищенных медных барашках и поручнях. Боцман даже прищурил глаза от нестерпимого блеска и загал на мгновение дыхание. До чего был красив океан! Головенченко уже хотел было спуститься позавтракать в старшинскую кают-компанию, но остановился, заметив, что к нему идет Кипарисов.

— Как вы думаете, боцман, — спросил старший помощник, — могли ли мы отвалить быстрее и чище?

— Все чин по чину, товарищ капитан-лейтенант! — ответил солидно Головенченко. — На три минуты быстрее, чем в прошлый раз!..

— Вы говорите, на три минуты быстрее, а командир считает, что минуты на две медленнее, чем следовало. — Кипарисов с усмешкой посмотрел на растерявшегося боцмана.

— Так ведь... — начал было Головенченко.

— Следующий раз, боцман, быстрее поворачивайтесь! Ясно? — оборвал его Кипарисов и, высоко подняв голову, пошел вдоль борта.

Настроение у Головенченко сразу испортилось. «Как ни старайся, все неладно», — подумал он. Потом однако, вспомнив о разговоре, состоявшемся недавно у Парамо-

нова, сам себе ответил: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Раздумывая об этом, боцман подзвал Стебелева.

— С сегодняшнего дня, — сказал он, — буду с вами по часу индивидуально заниматься!

— Есть! — ответил Стебелев. Он, однако, не понимал, почему на лице у боцмана было недовольное выражение.

«Державный» уходил все дальше от Белых Скал. Навстречу ему катились могучие океанские валы.

— Эй, впередсмотрящий, что за балетная поза?! — донесся с мостика звонкий голос Кипарисова. Матрос, стоявший на носу корабля, подтянулся, выпрямился, даже по спине его чувствовалось, как напряжены теперь все его мускулы.

Боцман усмехнулся и медленно пошел к трапу. «Не старший помощник, а глаз всевидящий».

С левого борта показалась гряда вулканических островов с дымящимися, как человеческое жилье, сопками.

## 2

За стеклом плотно задраенного иллюминатора однообразно журчит вода; время от времени ветер швыряет в иллюминатор брызги и сорванную с гребней волн пену, и тогда по стеклу медленно скатываются круглые, как шарики ртути, капли.

Озеров сидит у стола и листает толстую тетрадь в зеленом переплете — свой дневник.

О многом надо подумать секретарю партбюро в походе, много работы впереди. Как же не поразмыслить загово над замечаниями начальника политотдела на полях тетради.

Вот одна из первых записей, сделанная фиолетовыми чернилами ровным каллиграфическим почерком:

«Был офицером-артиллеристом. Отдавал приказания командирам расчетов, они мне докладывали об исполнении. Все было ясно. Стал секретарем партбюро, будто офицерские права потерял. Кто мои подчиненные, кому и как должен я приказывать?»

Почти полгода прошло с тех пор, как сделал Озеров эту запись. Ничего, кроме улыбки, она не может сейчас у него вызывать, но навсегда запомнилось то, что записал Звенигоров на полях:

«Должность у вас выборная, Озеров, а власть еще большая, хоть и другого рода; власть вручена вам доверием лучших людей корабля. Они подчиняются вам и без приказа, пойдут за вами без принуждения, в хорошем — поддержат, ошибку — исправят!»

Чуть вибрируют переборки, раскачивается портрет смуглолицей большеглазой женщины над столом. В углах каюты движутся в такт качке тени.

«Выборная должность» — медленно, постепенно постигал секретарь партбюро весь смысл этого понятия.

Легко ли было, например, вечно ссылавшегося на занятость корабельного интенданта уговорить вступить в университет марксизма-ленинизма, легко ли было приучить выступать на собраниях и проводить беседы застенчивого старшину Салиева! Насколько проще приказать: «Поступить! Выступить! Провести!» А ведь нельзя...

Озеров разворачивает два вклеенных в тетрадь, сложенных вчетверо и аккуратно расчерченных листа полувазмана. На одном листе — партийные поручения. Запи-

сано коротко, как принимали их коммунисты, чем он сам им помогал, что показала проверка; на другом — весь ход партийной учебы.

«Это хорошо. Картина полная», — в уголке написал Звенигоров.

На море быстро темнело. По стеклу иллюминатора текли струйки воды. Видимо, пошел дождь.

Озеров поднялся, включил свет настольной лампы и опять сел. В каюте сразу стало уютней.

Снова перевернул он несколько страниц, прочитал первые строчки:

«Беседовал с матросами и старшинами, обучающимися в вечерней школе, по вопросу об их успеваемости». А на полях: «Неплохо. Но гораздо важней, как повлияла учеба на службу».

Дальше:

«Комсомольская организация перед смотром слишком увлеклась художественной самодеятельностью. Сам секретарь все свободное время играет на баяне. Указал ему на то, что есть и более серьезные дела».

Надпись начальника политотдела коротка и выразительна: «Вытапливая воск, оставьте мед!»

Еще дальше:

«Замещаю замполита, а старший помощник на меня смотрит, как и прежде, свысока. Дать ему никакого задания по партийной линии не могу. Говорит: «Служба — мое высшее партийное поручение и для других дел времени не оставляет». Правильно ли это?»

«Кипарисов кандидат партии, и, как за коммуниста, вы за него отвечаете!» — размашисто написал сбоку Звенигоров.

Озеров обидно, что он не успел потолковать по этому поводу с начальником политотдела. Пусть бы Звенигоров указал ему правильный путь. Сколько ни пытался сам секретарь партбюро, он не мог найти даже верного тона в разговорах со старшим помощником. «Парамонов вот тоже советует привлечь Кипарисова к партийной работе. А поди-ка, попробуй», — подумал Озеров и с досадой перевернул сразу десятка полтора страниц. «Но только ли с Кипарисовым не ладится у меня?»

Взгляд его снова упал на страницы.

«Думаю провести корабельный вечер с викториной. Кто лучше знает историю флота? Предложу на партийном бюро по субботам проводить цикл лекций по литературе и искусству; по воскресеньям — спортивные праздники...»

Озеров вспомнил, как радовался он, сделав эту запись. Он уже видел переполненный офицерами и матросами самый просторный на корабле кубрик, за столом, накрытым красной скатертью, командира, себя, а может быть, и самого командующего (как не заинтересоваться таким мероприятием!). Он уже составил список лучших преподавателей города, которые будут вести цикл, собирался договориться о приглашении физкультурников с верфи на праздники. Получив дневник от Звенигорова и раскрывая его, он был почти убежден, что увидит там надпись: «Ценная инициатива!» Какого же было удивление и разочарование секретаря партбюро, когда он прочитал:

«Не увлекайтесь парадной шумихой. Больше думайте о задачах, стоящих перед кораблем. Перенесите центр тяжести всей работы непосредственно в боевые части и на посты».

Озеров сначала даже подумал, что начальник политотдела не прав. «Что можно иметь против интересных и новых замыслов, которые увлекут весь корабль?» Он ждал только случая, чтобы встретиться со Звенигоровым и переубедить его. Но не прошло и несколько дней, как Высотин, предложив изменить повестку партийного собрания, обвинил секретаря партбюро примерно в том же, что и начальник политотдела.

Это заставило Озерова заколебаться, и он решил подождать возвращения из отпуска замполита, чтобы поделиться с ним своими сомнениями.

А затем, увлекшись другими делами, как-то забыл... не успел. Озеров вспомнил о том, как резко критиковал его замполит незадолго до похода. Каким обидным казалось ему выслушивать упреки, когда он, кажется, старался изо всех сил поднимать большие дела на корабле. «Да, не легкая вещь быть политработником. Ну, а вот Парамонов сам хорош или нет? — задал он себе вопрос и ответил: — Видимо, да. Но почему же? Чем он лучше меня?»

Озеров, отложив тетрадь, задумался о Парамонове: «Едва приехал, а все повернул по-своему... А сколько друзей у замполита на корабле? В каюте всегда народу полно, разве что глубокой ночью он остается наедине... А меня вот уже целый час никто не беспокоит. Приходят только по вызову да партийные взносы платить, — думал, осуждая себя, Озеров. — А почему? Почему? Он даже побледнел, когда эта мысль пришла ему в голову. — Потому, наверное, что я не умею говорить с людьми задушевно и просто, как близкий им человек, и они еще не видят во мне советчика и друга. Да и твердости характера мне нехватает».

Озеров вскочил, взволнованно зашагал из угла в угол по каюте.

Теперь замечания, сделанные ему Звенигоровым, Высотиным и Парамоновым, становились звеньями одной цепи, будто высказал их один человек и по одному и тому же поводу. Все становилось ясным. «Значит, не о делах корабля больше я думал, а о парадной шумихе. Но ведь и Парамонов говорил о праздничности, о том, чтобы в партаботе не было будничности, — мелькнула мысль. — Да, но для меня праздничность была чем-то несовместимым с корабельными буднями, а Парамонов хочет, чтобы каждый день службы был для людей как праздник».

Озеров хотел снова сесть за дневник, но в каюту вошел Донцов.

— Я к вам, товарищ лейтенант, о комсомольском собрании пришел поговорить... У вас есть сейчас свободное время?

— Конечно. Присаживайтесь, Донцов. — Озеров подошел к столу, взял из подставочки очиненный карандаш (привычка при разговоре всегда иметь карандаши для записи).

И вдруг вспомнил, что так и не побеседовал по-товарищески с Донцовым со дня злополучных гонок. А ведь тогда он сгоряча жестоко обидел секретаря комсомольского бюро.

— Вот что, Донцов. Прежде чем о делах... Я сожалею о том, что однажды обидел вас незаслуженно.

— Что вы, товарищ лейтенант, когда?.. Ах, вы о гонках, — догадался Донцов и покраснел, — так я же был виноват.

— Виноваты, но не в том, в чем я вас обвинил, не в хвастовстве, не в желании выделиться. Ну, простите. — Озеров протянул Донцову руку.

Теплое чувство поднялось в душе Донцова. Обиды он не помнил. Но ему было приятно, что секретарь партбюро думает о нем, о его переживаниях, и не стыдится перед ним, старшиной, признать свою неправоту.

— Спасибо, товарищ лейтенант, — сказал Донцов.

Озеров, чтобы скрыть смущение, спросил по-деловому сухо:

— Какой же вопрос комсомольское бюро наметило обсуждать?

— Думаем на собрании поговорить о передовой роли комсомольцев в службе и учебе, — также настраиваясь на деловой тон, ответил Донцов. — Вот тезисы моего доклада, а вот проект решения. — Донцов положил перед Озеровым несколько листов.

— Хорошо, я сейчас прочту...

Пока Озеров просматривал тезисы, секретарь комсомольского бюро думал о Зеленцове. За последнее время все то, что касалось старшины-артиллериста, не выходило у Донцова из головы. Он так и не решился поставить этот вопрос в докладе, не поговорив прежде с Парамоновым. А замполит сказал: «Обсудите все детально с секретарем партбюро».

«Как подойдет лейтенант Озеров к этому вопросу, не скажет ли, что я узко мыслю? — сомневался Донцов. — Ведь не раз он говорил, что всякая учеба — на пользу делу».

Тени в каюте сгустились. Будто кто-то медленно, но упорно заштриховывал серым карандашом ее переборки, койку, палубу, оставляя только светлый круг посредине письменного стола.

— Месяц назад я сказал бы, что доклад хорош. — Озеров отодвинул от себя листки бумаги, подошел к иллюминатору и опустил на его стекло броневую крышку, чтобы свет из каюты не демаскировал корабль в походе. — Теперь мне кажется, — продолжал Озеров, садясь рядом с Донцовым, — что вопросу о среднем звене, о «троечниках» вы не придали нужного значения. Он должен стать во главу угла.

— Это я понимаю, — сказал Донцов, — но как его поставить?

— Поставить так, что у каждого достаточно способностей, чтобы стать отличником. Нужно только упорство в достижении цели.

— А если дело не в способностях и не в упорстве? — спросил Донцов. — Если мешает что-нибудь другое, иногда вообще даже положительное, полезное.

— Полезное? — удивился Озеров. — Что же?

— Например, общеобразовательная учеба.

— Как же так?.. — возразил Озеров. — Возьмите, например, Ташыбаева... — он вдруг запнулся, вспомнив надпись на полях дневника: «Гораздо важнее, как учеба повлияла на службу». — «Неужели и здесь начальник политотдела предвидел какую-то мою ошибку?..» — А есть разве такие, Донцов? — спросил он.

— Есть. Например, Зеленцов.

Озеров задумался. Он знал Зеленцова. Сам поощрял его увлечение агротехникой. Сам предложил ему вступить в кружок по изучению английского языка. «В самом деле, ведь Зеленцов, кажется, «безнадежный троечник». Что же

с ним делать? Неужели надо осудить учебу? Нет, конечно!.. Не это имел в виду и Звенигоров, делая запись в моем дневнике».

— Вот что, Донцов, — сказал секретарь партбюро, — общеобразовательную учебу мы должны и впредь поощрять, но главное для нас — служба.

— А как же все-таки быть с Зеленцовым? — упрямо спросил Донцов. Ему нужен был ясный ответ.

— Я бы предложил ему на собрании выступить и рассказать о делах комсомольцев своего расчета. Я бы даже назвал это содокладом, чтобы он не мог отказаться. Ведь Зеленцов, кажется, на собраниях обычно отмалчивается.

— Да. Но о чем же он будет говорить?

«О чем? В самом деле, о чем?» — Неожиданная мысль пришла в голову Озерову. «Как же мы все об этом забыли». Перед его глазами предстало орудие главного калибра и бронзовая дощечка, прикрепленная к его броневому щиту.

— Вы помните, каким орудием командует Зеленцов?

— Орудием имени Петра Чайки.

— Вот и пусть расскажет о своем расчете, а мы его спросим, как он продолжает традиции Героя Великой Отечественной войны. Согласны?

— Замечательно! — вырвалось у Донцова. Он с уважением посмотрел на секретаря партбюро.

Озеров радостно улыбнулся такой оценке своего предложения. Кому не льстит похвала. Но сегодня она была особенно нужна Озерову, очень нужна, ведь он решил всю свою работу пересмотреть и перестроить. И делал первые новые шаги.

— Ну, а теперь займемся проектом резолюции, — сказал он.

...Когда Донцов ушел, секретарь партбюро еще долго продумывал, какие поручения дать коммунистам на время похода. Здесь были беседы и политинформации на боевых постах, выпуск листовок-молний об отличившихся матросах и старшинах, обмен агитаторами между боевыми частями и многое другое. Только кандидату партии Кипарисову поручения еще не было. «Как же быть с ним? Он и сейчас, наверное, отнесется ко всем планам создания целиком отличного корабля недоверчиво». Ведь недаром, когда Озеров заменял замполита, Кипарисов сказал ему нравоучительным тоном: «Поймите, лейтенант, старший помощник и замполит ставят перед собой в общем и целом одни и те же задачи, но идут они разными путями, и области деятельности у них разные. Вы рассуждаете и уговариваете там, где я приказываю. То, что хорошо для одного, плохо для другого. Мое дело — боевая подготовка, ваше — политическая. Я не зваливаю на вас составление планов учений. И вы не поручайте мне доклады на политические темы».

Озеров хотел возразить Кипарисову, но тот не стал слушать. Золотов, которому секретарь рассказал об этом случае, пожал плечами. «Что ж, вы правы, Озеров, — заметил он, — никто из советских людей не может быть аполитичным, но, логично рассуждая, действительно незачем отнимать время у перегруженного работой старшего помощника на то, что может и должен сделать политработник». Тем дело и кончилось.

«А напрасно все-таки я тогда ступешался, — думал Озеров. — Я вот обязан изучать до тонкости военное дело. А не буду этого делать — скажусь болтуном, это факт.

Также и строевой офицер. Если он ничего не хочет знать, кроме своей узкой специальности, непременно станет бездушным делаягой. Вот что я должен был тогда сказать Золотову».

Озеров пододвинул к себе дневник.

«Стыдно мне пасовать перед трудностями».

Он склонился над тетрадь и стал быстро писать: «Нужно поручить Кипарисову сделать в ближайшие дни доклад «О моральном облике советского моряка»... Пора по-настоящему втягивать его в партийную работу...»

«А что, если он снова откажется, ссылаясь на занятость в походе?.. — подумал Озеров. — Лучше пойду-ка сейчас и обо всем договорюсь с ним. И незачем откладывать этот разговор...»

Озеров встал, застегнул крючки на воротнике кителя, достал из ящика шкафа платяную щетку и смахнул ею с рукава пылинки, потом положил тетрадь в стол и решительно повернул ключ в замке.

### 3

Накануне похода Кипарисов получил письмо. «Опять от Марии. Все, наверное, об одном и том же...» Не вскрывая, он сунул конверт в карман. Вечером в каюте он принялся разбирать служебные бумаги: директивы и приказы из штаба, докладные записки командиров боевых частей, рапорты...

Старший помощник внимательно прочитал директивы и приказы, подчеркнул карандашом те места, на которые следовало обратить особое внимание или довести до сведения всего экипажа корабля, и отложил для доклада Высотину. Затем занялся просмотром служебных записок и рапортов.

Он работал долго, куря одну папиросу за другой. Сизоватая пелена табачного дыма висела над столом.

Устало откинувшись на спинку кресла, Кипарисов раскрыл папку с планом боевой подготовки, полюбовался своим четким почерком. «А все-таки обидно, учит меня Высотин, как мальчишку...» Он подумал о том, что является вторым старшим офицером на «Державном», что должен быть в курсе всех служебных намерений Высотина, готовым в любой момент вступить в командование кораблем. Так об этом трактовал устав. Стать командиром «Державного» было мечтой Кипарисова. Однако он считал, что назначение придет само собой так же закономерно и естественно, как очередное воинское звание.

К Высотину в последние дни Кипарисов относился с глухим недоброжелательством. Это объяснялось не только разногласиями по службе, но и личной неприязнью, особенно усилившейся с той поры, когда он почувствовал, что Высотин стоит между ним и Анной.

Кипарисов пододвинул коробку с табаком, свернул новую папиросу и стал шарить в кармане, ища спички. Пальцы нащупали письмо. «Надо же его все-таки прочитать». Он неторопливо надорвал конверт, развернул листок почтовой бумаги. Первая фраза, которую он прочел, ошеломила его.

— Светлана умерла! — глухо вырвалось у него. Он встал и зашагал по каюте из угла в угол, сутулясь и кусая ногти. Дальше письмо он не стал читать. На душе у него сразу стало тягостно. Он успел уже привыкнуть к мысли, что у него есть дочь. Правда, он редко думал о ней,

не связывал ее судьбы со своей судьбой, но все же любил ее по-своему. Не давая себе в том ясного отчета, гордился тем, что дочь была похожа на него. «Теперь ее не стало». Все значение этих слов доходило до него постепенно. И вдруг он подумал, что, может быть, несчастья не произошло бы, если бы она была с ним. И эта мысль, раз придя к нему, уже не оставляла его.

Он ходил и ходил по каюте, повторяя вслух: «Как это нелепо, ах, как нелепо... Вот несчастье-то!..» Он все пытался мысленно представить по письмам Марии Светлану такой, какой она была в жизни: ее лицо, ее глаза, ее голос, но из этого ничего не получалось. Перед его глазами была пухленькая девочка в нарядном платьице, с голубым бантом, очень похожая на многих виденных им детей. Но Светлана была его дочь, частица его самого, и он чувствовал с болью, что все то светлое, что появлялось у него на душе, когда он думал о дочери, теперь никогда не повторится.

Ему показалось, что в каюте душно, и он включил вентилятор. Моторчик зажужжал, и от струи воздуха зашелестели на столе бумаги.

«Какой же я был эгоист, — подумал он. — Светланка, моя ты Светланка, так и не довелось тебя повидать!..»

У двери послышались шаги.

Кипарисов прислушался. «Вот уж совсем некстати кто-то идет».

В каюту вошел Озеров.

— Что-нибудь случилось? — настороженно спросил Кипарисов.

— Ничего, — ответил Озеров. И, спеша придать разговору верный тон, добавил: — Я пришел к вам поговорить о важном деле.

— О важном? Значит все-таки что-нибудь произошло?

— О вашем партийном долге, — сказал Озеров.

— Ах, это! — Кипарисов сел в кресло и жестом пригласил садиться Озерова. — Вы, наверное, хотите ознакомиться с тем, как я самостоятельно изучаю историю Коммунистической партии по первоисточникам. Прощу! — Он порывистым движением вынул из ящика стола тетрадь — свой конспект «Диалектики природы» Фридриха Энгельса.

Озеров отстранил тетрадь.

— Я знаю, что вы систематически занимаетесь, не об этом сейчас разговор, — сказал он и подумал: «Почему Кипарисов нервничает? Ведь всегда он такой спокойный, самоуверенный».

— Видите ли, наша общая задача — сделать «Державный» образцовым кораблем, и каждый коммунист должен приложить как можно больше сил, чтобы добиться этого.

Кипарисов длинным и острым ногтем мизинца раздраженно почиркал по белому листу бумаги, лежавшему перед ним.

— Насколько мне помнится, — сказал Кипарисов, — мы уже однажды с вами выяснили, товарищ лейтенант, что моя служебная деятельность совпадает с тем, к чему стремится партийное бюро. Не так ли? — Кипарисов поглядел на зарумянившееся от волнения лицо Озерова. «Ну, чего ты от меня хочешь? Высказывайся и уходи поскорее».

— Так, — согласился Озеров. — Я это учел, наметив вам ответственное партийное поручение.



— Мне, сейчас?

— Чему вы удивляетесь?

— Мм... — Кипарисов подумал, что человеку, не знающему, что у него творится на душе, этот вопрос действительно может показаться странным, и, повернувшись на столе бумаги, сказал:

— Знаете что, Озеров, я не против партийного поручения, но приходите все же после похода, тогда и потолкуем. Вот, — он развел над столом руками, — масса работы, плюс вахта, плюс всякие неожиданности в море. С меня, как со старшего помощника, никто ответственности не снимает. Вы это понимаете?

— Понимаю, — твердо сказал Озеров. — Но убежден, что поручение не пойдет во вред делу.

— Что же вы решили мне поручить? — спросил Кипарисов. «Не высказывай, пожалуйста, мне прописных истин. Их я и без тебя хорошо знаю!» — казалось, говорил его недовольный взгляд.

— Нужно сделать доклад «О моральном облике советского моряка».

— О моральном облике? — переспросил Кипарисов. Он с трудом взял себя в руки и сухо ответил: — К сожалению, это тема для политрабатника. Мне она не подходит.

— Каждый коммунист в большей или меньшей степени политрабатник! — возразил Озеров. На этот раз он решил не отступать. Голос его звучал непреклонно.

Кипарисов удивленно поглядел на секретаря партбюро. «Откуда такая настойчивость?» Он подумал о том, что его отказ, учитывая взгляды Высотина, может иметь нежелательные последствия по службе, и только спросил:

— Партбюро предлагает мне или обязывает?..

— Партийное бюро, как обычно, предлагает, а обязывает устав партии.

— Хорошо, лейтенант, я согласен, — поднимаясь из-за стола, коротко бросил Кипарисов.

— Вот и ладно! — сказал Озеров с облегчением. Он был доволен собой, своей твердостью. В то же время было неприятно, что старший помощник и сейчас в разговоре о партийных делах держится с ним как начальник с подчиненным, подчеркивая его воинское звание.

Лицо Кипарисова выражало нетерпение. «Ну, чего тебе еще, иди уж...» — говорил его взгляд.

Озеров, однако, медлил. Он подавил в себе возникшее было раздражение. «Тут дело не личное и не чисто служебное, — думал он. — Лейтенант Озеров, поняв, что капитан-лейтенант Кипарисов считает разговор оконченным, должен был бы уйти, а секретарь партбюро уйти не имеет права, пока не убедится, что коммунист выполнит партийное поручение, как надо».

— У меня есть материалы на эту тему. Я могу их дать вам, — сказал он.

— Спасибо, надеюсь, справлюсь сам! Человек я грамотный, газеты читаю...

«Опять нервничает, даже злится. Что же с ним происходит? И почему он не хочет видеть во мне товарища-коммуниста?»

— Ипполит Аркадьевич! — сказал Озеров мягко и с уважением. Ему хотелось, чтобы это необычайное в разговорах между ними обращение по имени и отчеству было понято Кипарисовым правильно — не как вольность, а как желание повести простой человеческий разговор. —

Ипполит Аркадьевич, я вижу — вам не по себе. Может быть, служебные или личные неурядицы? Давайте потолкуем. Ум — хорошо, а два, говорят, лучше.

— Нет, нет, — поспешно перебил Кипарисов. — В моих делах полный порядок.

...Как только Озеров ушел, Кипарисов достал письмо Марии. Опершись локтями о стол, обхватив голову руками, принялся перечитывать его медленно, от первой до последней строки.

На душе у него становилось все тяжелее и тяжелее.

#### 4

Гаранину не работалось. Перед ним лежали данные о прошлых артиллерийских стрельбах. По совету командира корабля он решил заново их изучить, чтобы понять те ошибки, которые допускались ранее. Однако смотрел сейчас Гаранин не на бумаги, а через иллюминатор куда-то вдаль, где видны были только краешек неба да вздыбленные волны. И вот там, между небом и волнами, ему почудилось колеблющееся расплывчатое отражение женского лица. Гаранин закрыл глаза и представил себе Любашу так ясно, как будто она стояла перед ним.

В коридоре послышался звук чьих-то шагов. Гаранин очнулся. «Что ж это я, какая чепуха! Никогда ведь со мной такого не бывало». Он придвинул стул к столу и взял в руки карандаш. Не прошло и нескольких минут, как он поймал себя на том, что машинально рисует знакомый профиль. Он бросил карандаш на стол... «Наваждение, право...»

Гаранин был смущен и раздосадован. «Ну, что мне до нее? — думал он. — Что мне до нее? Она — Любовь Сергеевна Евтерева, жена подполковника, моего по службе старшего товарища». Он повторял про себя эти слова, даже произносил их вслух, но все это действовало мало. Все равно ему хотелось называть ее Любашей и думать о ней как о Любаше. Все равно, в который раз за эти дни, вспоминал он ее, по-девичьи мечтательную, по-девичьи непоследовательную, то доверчивую и близкую, то внезапно отчужденную, идущую с ним по ночному бульвару. «Ну что мне до нее? Я должен ее забыть».

Гаранин решительно поднялся, чтобы достать с полки необходимый справочник. Но, раскрыв толстый том, увидел между обложкой и первой страницей забытый там карандашный набросок. «Снова она!»

В каюту вошел рассыльный.

— Товарищ лейтенант, вас вызывает командир корабля!

Гаранин озабоченно взглянул на лежащие на столе бумаги.

«Ой, ой, даже не успел пересмотреть план стрельб! Ведь об этом может спросить Высотин. Будет мне от него «фитиль!»»

Мысли о Любаше моментально исчезли из головы лейтенанта.

#### 5

Высотин заканчивал разговор с Махотиным. Служебные вопросы были решены легко и быстро. Оставалось еще только одно дело весьма щекотливого свойства. Не было у Махотина настоящей близости со своими подчи-

ненными. Его уважали за глубокие знания, за то, что сам он не боялся никакого труда. На показательных занятиях, которые Махотин проводил со старшинами, он не только учил их свободно разбираться в чертежах и схемах, не только давал методические указания, но и сам, надев комбинезон, забирался в коллектор котла, показывая, как устранять повреждения; в дни, когда корабль стоял на ремонте, он не отходил от машин, отказываясь от увольнений на берег, не выкраивая для себя даже свободного часа, чтобы сыграть в шахматы. Махотина любили за то, что он был ровен и справедлив — никто и никогда не мог бы заподозрить его в пристрастном отношении к кому бы то ни было. И все-таки, любя и уважая своего командира, матросы несколько чуждались его. Ну как было притти к замкнутому, всегда суровому офицеру без специального вызова, как поделиться своими радостями, печальми, мечтами с человеком, вечно погруженным в свои думы?

«Вот Ташыбаев даже с изобретением к Махотину не пошел, — думал Высотин. — Но могу ли я сказать ему об этом? Здесь не прикажешь: «Измени характер! Стань общительным!» — как не прикажешь: «Забудь погибшую во время войны жену». Сколько пережил этот человек! И все-таки надо».

— Мне рассказывал старший помощник об одной вашей теории по поводу приложения сил. Я имею в виду человеческие силы, — сказал Высотин. — Вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю. — Махотин посмотрел на командира внимательно. — Вы считаете ее неправильной! — Он не спрашивал, а утверждал.

«Да, с ним нельзя обиняками разговаривать», — подумал Высотин.

— Я считаю, — сказал он, — что офицеру мало быть узким специалистом.

— Согласен, товарищ командир. И такой теории у меня нет и не было, а был только конкретный разговор.

— Поясните, — попросил Высотин.

— Я беседовал с человеком, который разбрасывался без толку, ему нужно было помочь найти свое место. Если бы я говорил с узким специалистом, я обратил бы его внимание на другое — на источники человеческой силы, — Махотин немного подумал, — прежде всего на науку, обязательную для всех советских людей, какова бы ни была их профессия.

— Ленинизм! — сказал Высотин.

— Да, конечно!

Высотин посмотрел на изборозженное глубокими морщинами, еще молодое лицо Махотина, оценил взгляд его суровых, почти не меняющих выражения глаз. Да, перед ним был равный ему, зрелый человек. Но тем не менее и этого зрелого человека он должен был и учить и направлять.

— В характере каждого человека есть свои достоинства и недостатки, — сказал Высотин, — я хотел бы, чтобы вы лучше знали, каковы они у ваших матросов. Чтобы вы были ближе к подчиненным вам людям.

— Не легко изменить, товарищ командир, свой характер, привычки, — подумав, ответил Махотин. — Однако спасибо, что напомнили мне об этом... — Он поднялся, официальный и строгий, точно всем своим видом говоря:

«Есть! Можете не сомневаться, все будет сделано, как требуется».

— Это мое единственное пожелание. Прибавьте еще одно хорошее качество к тем, которые я в вас как в офицере очень высоко ценю, — сказал Высотин, прощая Махотина.

...Когда в каюту вошел Гаранин, Высотин, едва взглянув на его встревоженное лицо, решил: «Видно, задание мое не выполнил. Не знает, как оправдаться, но еще надеется, что все, авось, обойдется».

— Доложите, лейтенант, о подготовке к стрельбам... — сказал он, беря у командира артиллерийской части папку с планом.

Гаранин подтянулся, кашлянул и голосом, сильным от неожиданной спазмы в горле, сказал:

— К тому, что я докладывал вам три дня назад, ничего прибавить не могу. Тренировки проходят по плану...

— Понятно. Тогда я сам буду вас спрашивать. — Высотин раздраженно забарабанил пальцами по столу.

Океанская зыбь раскачивала «Державный», вечернее солнце то заглядывало в иллюминаторы, то уходило куда-то ввысь. Так же в такт качке корабля перемещались свет и тени на вытянувшемся лице Гаранина.

Высотин ставил перед ним вопрос за вопросом:

— Почему в боевой части нет движения вперед? Почему не закончен анализ прошедших стрельб? Сколько занятий вы лично провели с командирами расчетов?

Артиллерист стоял перед командиром, красный от смущения. Что мог он ответить? Гаранин успел привыкнуть к тому, что все идет в боевой части своим давно заведенным порядком, без чрезвычайных происшествий, без выдающихся успехов, и был такой жизнью доволен. Правда, Высотин уже несколько раз говорил ему о необходимости коренным образом улучшить боевую подготовку артиллеристов и даже дал несколько важных советов. Вначале Гаранин с жаром взялся выполнять указания Высотина, но до конца ничего не довел. В последнее время он откладывал со дня на день все, что хоть как-то могло быть отложено, успокаивая себя тем, что специалистов растят годами и что поэтому все еще можно будет наверстать. Последнюю мысль он попытался высказать Высотину.

— Чем меньше делаешь, тем процесс этот длительней, лейтенант! — ответил Высотин. — А поход в океане — золотое время, каждую минуту которого надо использовать.

«Какие же разные офицеры, — подумал он, сравнивая Махотина с Гаранниным, — того можно сразу на мое место — справится, а этот, хоть и знающий и способный, ведет себя порой, как набедокурившийся ученик... Тот с полуслова поймет, а у этого может иногда в одно ухо влететь, в другое вылететь. Нет, здесь одними разговорами не обойдешься!»

— В последнее время я недоволен вами, — жестко сказал Высотин. — И за халатность вынужден буду наказать.

Гаранин поблел. Сдерживая волнение, глухо сказал уставное: «Есть!» и подумал: «Что он так круто?» Гаранин поглядел на Высотина, ища в его лице хоть какого-нибудь признака сочувствия или симпатии, которые обычно проявлялись у всех, кто разговаривал с ним. Но лицо командира было строгим и непроницаемым.

Солнце снова ворвалось в каюту, осветило ее багровым светом и исчезло; по стеклу иллюминатора двигалась

сверху и вниз бледная полоска горизонта, и видны были то вспененные океанские валы, то сизая крошка туч.

— Имейте в виду, лейтенант, за малейшее отклонение от моих требований я буду с вас строжайше взыскивать... Ступайте!

После того как Гаранин ушел, Высотин еще некоторое время думал о нем: «Ведь славный малый, любимец кают-компаний, художник не без таланта. Ей ласкам да похвалам привык. А я его не пожалею. Ей-ей, не пожалею. Суровей, чем к другим, буду относиться. Поблажкой такого офицера только испортишь».

Он развернул на столе карту Седых Бурунов, лодию, раскрыл блокнот, в котором были записаны советы Золотова. «Доверять штурману нужно, а контролировать также необходимо». Покончив с прокладкой курса, Высотин придвинул к себе тактический формуляр «Державного», отметил цифры, которые предстояло проверить в походе. Он работал дотемна.

После вечернего чая Высотин вышел на палубу. «Державный» шел полным ходом, небо прояснилось. Океан окутывала холодная тихая ночь. Звезды отражались в темных волнах, и казалось, что корабль идет прямо по Млечному пути, дробя его, подминая под себя и отбрасывая по сторонам блестящие осколки. Далеко позади тянулась светлая в ночи, вспененная винтами полоса воды.

На полубаке у обреза Высотин увидел Салиева и Стебелева и направился к ним. Судьба Стебелева не переставала его интересоваться. Высотин все время следил за его успехами, расспрашивал о нем боцмана, но сам как-то не мог выбрать времени, чтобы поговорить с ним. При приближении командира разговор на полубаке умолк.

— Как идет у вас служба, Стебелев? — спросил Высотин. — Привыкаете к «Державному»? Может, есть какие претензии?

— Ничего... — Стебелев потоптался на месте.

— Разрешите, товарищ командир, мне сказать, — вмешался Салиев.

— Разрешаю.

— По специальности он скучает. Ведь котельный машинист!

— Правда, Стебелев?

— Правда, товарищ капитан третьего ранга. — Стебелев тяжело вздохнул.

— Только об этом говорит, со мной душу отводит, — добавил Салиев.

Высотин подумал немного. «Может быть, уже время перевести его в электромеханическую боевую часть?.. Нет! — решил он. — Рано. Пусть заслужит по-настоящему это право».

— Что ж, я разрешаю вам, Салиев, в свободное время заниматься со Стебелевым, — сказал он.

## 6

На третий день похода на траверзе «Державного» открылась скалистая гряда. Корабль круто повернул к берегу. Стрелка машинного телеграфа замерла на «стоп». Ближе к земле подойти нельзя. Там море клокотало, вздымал брызги, перекатывало вспененные гряды через клыки подводных камней. По небу ветер гнал серые облака; они

стремительно уносились вдаль и, казалось, обрывались на горизонте в хмурое, волнующееся море.

— Шестерку к спуску! — громко и протяжно скомадовал вахтенный офицер.

Кипарисов выжидающе посмотрел на Высотина.

— Шлюпку обдерем о камни, — заметил он небрежно. — При таком накате, пожалуй, я оверкиль сделаешь.

— Что же вы предлагаете? — спросил Высотин, и Кипарисову показалось, что голос командира звучал несколько более встревоженно, чем следует.

Сам Кипарисов был спокоен. «Державный» находился в автономном плавании, никого поблизости не было. В воле командира было выбирать тот или иной вариант высадки. Если целью настоящего боя является победа над врагом, а во имя победы порой нужно рисковать и кораблем и людьми, то на учениях важнее всего показать, что все прошло без сучка и задоринки. Старший помощник был в этом убежден, но прямо высказывать свое мнение Высотину остерегался.

— На прошлых учениях высаживались севернее, в бухте Звездочка... Чистый берег, оборудованный пирс, при сегодняшнем морде там наката и в помине нет, — заметил он уклончиво, старательно протирая кусочком замши стекла бинокля.

— Звездочка заминирована противником, — сказал Высотин.

— Тогда южнее, Соколина!

— Захвачена авиадесантом. Разве вы забыли условия учения?..

— Нет, не забыл...

— Так что же вы в конце концов предлагаете? — повторил с досадой Высотин.

Кипарисов поднял глаза к небу.

— Капитан второго ранга Золотов как-то мне говорил, что условные мины условного противника гораздо менее опасны, чем безусловные подводные камни. — Кипарисов с удовольствием произнес эту пришедшую ему на ум и кажущуюся красивой фразу и, помолчав, добавил: — В штабе, когда планировали учебную задачу, не могли предвидеть несчастной погоды.

— А разве в бою можно все досконально предусмотреть? — спросил Высотин. — Подобных рассуждений, признаться, от вас не ожидал..

Высотин отряхнул с воротника капельки воды, поднес к глазам бинокль. Кипарисов, будто не расслышав его упрека, сказал:

— Золотов, по-моему, неплохой был командир...

«Что это у него за пустое фразерство?..» — подумал Высотин и негромко, чтобы не услышали сигнальщики, ответил:

— Не прикрывайте собственные ошибки чужим авторитетом. Золотов как работник штаба лично предупредил меня перед походом: «Никаких условностей, ни при каких условиях». Ясно?

Кипарисов закурил губу.

— Но ведь все-таки ученье чем-то отличается от боя?

Высотин, не ответив, указал рукой на берег. Оттуда семафорил матрос. Он стоял на скале, расставив широко ноги; флажки в его руках взлетали и падали, как языки пламени на ветру.

— Просят ускорить подачу боезапаса, — доложили Кипарисов, прочитав семафор.

— На первой шлюпке лейтенант Плакуша, на второй — Донцов. От берега в двух кабельтовых, у Лысого Камня, боезапас перенести со шлюпок на руках, — отдал приказание Высотин.

— Лейтенант Плакуша? — переспросил с недоумением Кипарисов. — Он шлюпку разобьет, боезапас утонет...

— Выполняйте, — оборвал Высотин. — Я не узнаю вас сегодня!

— Есть выполнять!

Накануне Высотин вызвал фельдшера к себе и подробно объяснил предстоящую задачу.

Плакуша сидел, потупив глаза, и, казалось, был занят изучением пятнышка на сияющем носке ботинка.

— Я действую так, как если бы в бою на корабле, кроме вас, не осталось офицеров, — закончил разговор Высотин. — Вы морской офицер, я доверяю вам...

Фельдшер поднялся, сказал: «Есть!» — и вышел из каюты... Высотин успел заметить, как самодовольно блестяли его глаза.

«Сделает», — подумал Высотин.

Не забывая о необходимой предосторожности, Высотин назначил на шлюпку лучших гребцов. Утром он был приятно удивлен, увидев, что Плакуша вместе с Головенченко уже осматривал деловито шлюпку.

...Шестерка с растопыренными палочками весел издала нагломанала спичечную коробку, пущенную ребятишками в бурный поток. Она неуверенно лавировала, задержалась у плоского Лысого Камня и, медленно повернув против волны, стала подходить с подветренной стороны к «Державному». Плакуша, в капковом жилете, в фуражке с опущенным под подбородок ремешком, сидел, крепко держа за кормовую банку.

— Эй, на шлюпке! Что случилось? — крикнул в мегафон Кипарисов.

— Нельзя! — донесся в ответ полный отчаяния голос Плакуши. — Грипповать будем... Холодная!

— Что холодная? Кто грипповать?

— Вода холодная... Ветер... Заболел!

— Слышите? — саркастически усмехнувшись, произнес Кипарисов, обращаясь к Высотину. — Вы слышите доклад морского офицера? Вода ему холодная!.. Прикажете заменить?

— Что же, беспокойство Плакуши о здоровье матросов — его служебный долг, он же фельдшер.

Кипарисов вдруг почувствовал, что выдержка начинает ему изменять. Шутит Высотин или говорит серьезно?

— Лейтенанта Плакушу ко мне, — приказал Высотин.

— На шлюпке! — крикнул Кипарисов. — Лейтенанта Плакушу к командиру корабля!

— Есть! — печально отозвался Плакуша, предвидя восклицание. Но с его точки зрения, он поступил правильно. Для медика главное — здоровье людей.

Однако, когда Плакуша поднялся на борт корабля, Высотин деловито спросил его:

— Теперь, после реконсцировки, каково ваше мнение о возможности безаварийно выгрузить боезапас у Лысого Камня?

Неожиданный вопрос поставил фельдшера в тупик.

— Мое мнение? — Плакуша замялся. Командир не только не ругал его, но даже выяснял его мнение о вы-

полнении поставленной задачи. Это и удивило его и заглоло в нем чувство гордости собой.

Выпрямившись, он сказал:

— С подветренной стороны камня волна меньше, глубина один двадцать, выгрузку произведу, но...

— Знаю, — проговорил Высотин. — С камня на берег нужно боезапас нести на руках по грудь в воде. Ведь мы как на войне...

— На учении... — неуверенно поправил Плакуша.

— Да, совершенно верно, как на войне! — будто не расслышав возражения, повторил Высотин. — П вами, лейтенант, допущена ошибка. Гриппа испугались? Холодной воды? — Высотин невольно улыбнулся. — Ладно, — закончил он, — вы свободны, фельдшер. Я удовлетворен вашим докладом.

— А на шлюпке кто? — недоумевая, спросил Плакуша.

— Вы еще, видно, к этому испытанию не готовы.

— Товарищ командир, разрешите мне! Я допустил ошибку, я ее исправлю! — Голос Плакуши звучал умоляюще. — Погода как будто изменилась к лучшему, ветер стихает... Матросы у нас крепкий народ, выдержат... А потом я сам... личным примером...

— Добро! Раз погода изменилась к лучшему.

Высотин наблюдал, как азартно распоряжался Плакуша на шлюпке. Однако на этот раз рядом с ним был и боцман. Вот шлюпка подошла к Лысому Камню, нос ее скрылся за выступом. В бинокль отчетливо видно, как фельдшер снимает капковый жилет и первым лезет в воду. Вместо него на шлюпке остается боцман. Осторожно, чтобы не сбита с ног волна, несет фельдшер на берег тяжелый патронный ящик. За ним идет Стебелев; крепко прижимая к себе груз, он ухитряется время от времени поддерживать рукой Плакушу. Далее — цепочкой — матросы.

Вторая шлюпка подходит к камню. Донцов, стоя на корме, что-то кричит и, энергично жестикулируя, указывает на корабль, на шлюпку, на матросов, переносящих боезапас.

Через час на палубу «Державного» поднялись продрогшие, мокрые, усталые матросы, предводительствуемые фельдшером. Высотин, пожимая ему руку, серьезно сказал:

— Поздравляю вас, лейтенант, с морской купелью!

Плакуша блеснул глазами и лихо ответил:

— Просолился на всю жизнь!.. Раз условностей нет, полагаются сто граммов! — Затем, обернувшись к матросам, командовал: — Ко мне в каюту, бегом марш! Скипидаром натирать буду...

Высотин обернулся к Кипарисову.

— Ну, как вам все это нравится? — спросил он весело.

Кипарисов не знал, что ответить.

— Вы спросили меня час назад, — продолжал Высотин, — есть ли все-таки разница между учением и боем. Да, есть, конечно. В бою мы стремимся поручать каждое задание только тому, кто может его выполнить наилучшим образом, а на ученье мы добиваемся того, чтобы все были готовы выполнить наилучшим образом любое задание. Так-то, капитан-лейтенант! Что ж, пойду, пожалуй, чаю выпью, Ипполит Аркадьевич, — закончил Высотин уже другим тоном и забю повел плечами.

Проснувшись, Озеров сел на койке, оперся о подушку спиной и задумался. Перед ним возникли скучающие лица матросов и Кипарисов, равнодушно читавший свой доклад, весь состоявший из цитат и общих мест, выписанных из разных источников.

«Неладно, опять с ним неладно, — подумал Озеров, — лучше б уж сразу от поручения отказался, чем так его выполнять. И Парамонова я тоже не понимаю. Что за либерализм?!»

Озеров встал и прошелся раз-другой по каюте. Желтая ученическая ручка перекатывалась по столу между толстой тетрадью и массивным пресспапье, на полке постукивали друг о друга две спортивные гири-гантели. Озеров, спрятав тетрадь и ручку в ящик письменного стола, надел китель.

И доклад Кипарисова и тот разговор, который произошел в каюте замполита после доклада, не давали секретарю партбюро покоя.

— Ваш доклад был совершенно неинтересным! — прямо сказал секретарю партбюро старшему помощнику.

— А я не сказки рассказывал, товарищ лейтенант, — резко ответил Кипарисов. — Было бы правильно — вот что важно.

— Доклад и правильным не был по существу, — заметил Парамонов. — У вас, Ипполит Аркадьевич, по моему, так получилось: вот, дескать, общие положения о моральном облике советских людей, а вот, мол, конкретные задачи моряков «Державного». Одно с другим увязать надо было, а вы, наоборот, разделили.

Кипарисов слушал нетерпеливо. Видимо, едва не вспыхнул. Но потом, успокоившись, усмехнулся, поднял правую бровь и сказал невозмутимо:

— Значит, Николай Николаевич, надо было доклад поручить политработнику. Я же говорил секретарю партбюро, что тема не для меня.

«На том все и кончилось. Я же вроде оказался виноват, — думал Озеров.

Да, Парамонов проявил непростительную мягкость: не захотел портить отношения со старшим помощником, забыл, что строго осудить Кипарисова — значило нанести удар по формализму, по попытке отделить службу от партийной работы, политработников от строевых офицеров на «Державном».

«Я так ему и должен сказать прямо и открыто, — решил Озеров, — пусть он и умней и опытней меня, но здесь он ошибся».

В течение целого дня секретарю партбюро никак не удавалось поговорить с замполитом. Утром они оба присутствовали на политических занятиях в разных группах. Потом Парамонов был в машинном отделении и в штурманской рубке, а после обеда — в каюте командира корабля.

Только поздним вечером Озеров застал замполита.

## 8

...Парамонов готовился к лекции, которую он должен был прочесть офицерам «Державного» по возвращении из похода: перечитывал «Материализм и эмпириокритицизм», делал выписки, подбирая в журналах статьи о со-

временном состоянии физики. Мягкий зеленоватый свет лампы падал на письменный стол, освещая тянущиеся вдоль переборок полки с книгами, размещенными по разделам: «Философия», «История», «Литература», «Наука и техника». Отложив на минуту карандаш и поднявшись, чтобы налить себе из графина воды, Парамонов подумал о том, сколько у него еще неотложных дел. Трудновато выбрать время даже для подготовки к лекции. «А вскоре еще предстоит консультация для самостоятельно изучающих диалектический материализм по такой сложной работе, как «Анти-Дюринг».

Парамонов снова сел за стол. Опять ночь не спать... «А правильно ли я делаю, что все беру на себя? — мелькнула у него мысль. — Неужто мало у нас толковых офицеров? Знаю ли я их достаточно? Вот хоть артиллериста? Совсем ведь недавно училище кончил. Кстати, и командир просил им заняться, — вспомнил Парамонов. — А я с ним, кажется, с приезда из отпуска толком не поговорил».

И так как Парамонов не любил откладывать дела в долгий ящик, он решил сразу вызвать к себе Гаранина.

Гаранин пришел быстро, свежевыбритый и подтянутый. Остановившись у порога каюты, он четко доложил:

— Лейтенант Гаранин прибыл по вашему приказанию.

«Сначала командир, потом замполит, ну, теперь уж пойдет», — думал он.

Парамонов однако, поздоровавшись, сказал совсем неофициально:

— Выручайте, лейтенант. Объясните мне толком теорию квантов и теорию относительности. — Парамонов пододвинул Гаранину карандаш и лист бумаги. — Для лекции крайне необходимо. «Сейчас я проверю, насколько ты силен в философии».

Артиллерист на минуту задумался.

— Вас интересуют только общие положения или детали, формулы, выводы? — спросил он.

— Общие положения, философский смысл, — ответил Парамонов.

Гаранин, у которого будто камень спал с души, отложив в сторону карандаш и прошелся по каюте.

Парамонов, взглянув на артиллериста, с трудом скрыл улыбку — столько важности было сейчас в выражении лица, во взгляде больших карих глаз лейтенанта. «Доволен, что я перед ним в роли ученика», — подумал Парамонов.

— Кванты, как вы, вероятно, знаете, — начал Гаранин, — элементарные количества энергии, характеризующие прерывность атомных процессов и свойств света...

Гаранин говорил сначала сухо и бесстрастно, щеголяя математическими терминами, видимо подражая кому-то из своих профессоров. Потом он, однако, оживился, забыл о роли, которую на себя принял, и стал объяснять просто и доступно, как объясняет товарищ товарищу в училище. Он легко находил аналогии, свободно черпал их из разных областей знания.

Парамонов слушал, вдумываясь, по временам задавал вопросы. «Вот какой у нас артиллерист, прямо профессор, а мы и не знали», — думал замполит.

— Спасибо за помощь, Сергей Никитич, — сказал Парамонов, когда Гаранин кончил. — Обширные у вас

знанил. По вот что хочется мне спросить: достаточно ли полно вы их используете?

Гаранин не знал, что сказать. Научных трудов он не писал, лекций не читал, а про то, что делал на службе, Пармонов знал и без него. Да и вообще о службе после полученного от командира взыскания сейчас говорить не хотелось.

— Вас затрудняет вопрос?

— Нет, Николай Николаевич, но меня затрудняет ответ, — решил отшутиться Гаранин. Искорки смеха зажглись и потухли в его глазах. «Другой, может, голову повесил бы, а я какой уж есть, такой есть. Не судите строго», — казалось, говорил его веселый взгляд.

— Я спрашиваю серьезно, — настойчиво сказал Пармонов.

— Но я ведь серьезно! Служба поглощает почти все мое время. Только иногда для отдыха я немного рисую.

Пармонов задумался. Ему хотелось сказать Гаранину о том, что именно службе он должен отдавать свои знания и силы гораздо более щедро. Но сказать надо так, чтобы это не воспринималось как простое повторение того, что уже говорил Высотин.

— Вы уж простите меня, Сергей Никитич, задержу вас, — сказал Пармонов. — Я мальчишкой работать начал, учился только вечерами. Потом, уже на военной службе, на политических курсах все в систему привел. Да, видите, и сейчас еще чувствую кой-какие пробелы. — Пармонов отбросил упавшую на лоб прядь волос. — Да, — продолжал он, — на политработе я давно, и жизнь меня всегда подгоняла. Люди и о том, и о другом, и о третьем спрашивали. И чтоб доверие их завоевать и сохранить, я должен был уметь им правильно ответить. Малую толику почерпну из книг и несу людям, а им моих знаний не хватает, народ у нас на это дело жадный, сами знаете, ну, вот я опять — за книги. Так и путешествую туда и обратно. — Пармонов улыбнулся. — И всегда я — сознаюсь, грешен — завидовал тем, кто приходит в жизнь сразу с солидным запасом, ну, как вы из училища или из академии. И страшно обидно мне становиться, когда этот запас не тратится. Ну, скажем, как деньги в кубышке. Или, погодите, я вам по-другому скажу: как книги на забытом всеми складе. Стоят по полочкам чин по чину и пылятся без толку.

Гаранин слушал замполита с интересом, как слушал всегда с интересом людей, чья жизнь не была такой простой и гладкой, как у него. Но сейчас он испытывал неловкость. В словах Пармонова прозвучал упрек, обращенный к нему, а он не знал еще, какой сделать вывод. В эту минуту дверь отворилась, и в каюту вошел Озеров. Гаранин облегченно вздохнул.

— Не буду вам мешать. Разрешите идти? — спросил он.

— Мы ведь еще с вами не договорили, Сергей Никитич, — сказал Пармонов.

— О чем это? — поинтересовался Озеров.

Пармонов посмотрел на Гаранина, чуть сощурился глазами.

— Мы говорили о том, — сказал он, не отводя взгляда от артиллериста, но обращаясь к Озерову, — что партбюро мало интересуется самостоятельной учебной коммунистов, и договорились, что лейтенант Гаранин подготовится и в ближайшее время проведет консультации для

изучающих диалектический материализм по «Анти-Дюрингу». Не так ли? — последняя фраза была обращена уже к Гаранину.

Гаранин удивленно взглянул на замполита, потом на Озерова, немного поколебался и вдруг ответил весело:

— Конечно, так.

— И еще мы говорили о том, — продолжал в том же тоне Пармонов, — что недостаточно артиллеристам одних инструкций да схем, что надо им дать, по возможности, широкие технические знания, познакомить их с историей русского оружия и перспективами его развития и со многим другим. Что интересуются люди всем этим — факт. Что польза будет — тоже факт. Хоть Ташыбаева в пример возьмите! — Пармонов немного помолчал. — Вот и решили мы действовать в этом направлении и надеемся, что вы, Озеров, поможете лейтенанту Гаранину. Верно?

— Так точно, — снова живо подтвердил Гаранин, уже до конца поняв, к чему клонил разговор замполит.

Когда дверь за Гараниным закрылась, Пармонов обратился к Озерову:

— Хорошим может стать офицером Гаранин. Вы бы помогли ему провести цикл бесед с артиллеристами, сами ведь специалист по этому делу.

Озеров кивнул головой.

— Но я пришел к вам по другому вопросу, — сказал он. Озерову не хотелось, чтобы разговор о Кипарисове произошел между прочим и затерялся среди других дел.

— Я слушаю. — Пармонов видел, что Озеров взволнован.

— Я думаю, что мы вчера мягкотелость проявили...

— Это по поводу Кипарисова?

— Да. — Озеров заговорил о том, о чем он думал весь день, заговорил горячо, обвиняя Пармонова в излишней терпимости. Замполит слушал спокойно; в его взгляде Озеров уловил даже одобрение.

— Прав я или неправ? — закончил Озеров вопросом. Он уже был почти убежден, что замполит согласится с ним.

Пармонову понравилась горячность Озерова. Ошибку он мог простить секретарю партбюро, равнодушия — ни за что.

— Прав я или неправ? — повторил Озеров вопрос.

— И правы и неправы, — спокойно ответил Пармонов. — Правы, безусловно, в том, что мы должны осуждать всякое проявление формализма, и это мы с вами дали достаточно ясно понять Кипарисову, об этом с ним будет, вероятно, говорить и командир. Но правильно ли было бы применять к Кипарисову другие меры? Не забыли ли вы, что «Державный» военный корабль, где Кипарисов второй офицер? Да и хорошо ли вы себе представляете Кипарисова? Учитываете ли, что он мог понять только то, что сделал доклад, который кому-то не понравился, самое большее — что доклад и в самом деле был плохой. Все остальное для такого человека, как он, кажется домислом. Вы знаете, что в центр внимания партийной организации мог бы стать не вопрос о борьбе с формализмом, а вопрос о том, правильно ли так строго осуждать молодого коммуниста за неудачу в выполнении партийного поручения.

— Что ж, значит, мы должны мириться с тем, что в рядах нашей парторганизации находится формалист? — спросил Озеров.

— Мириться не нужно, но и спешить нельзя. Следует помнить о том, что старший помощник безукоризненно выполняет свои прямые служебные обязанности, о том, что он по-своему любит корабль. Коллектив наш будет расти день ото дня. Сам дух отношения к служебным обязанностям будет еще меняться. Либо Кипарисов постепенно, с нашей помощью, поймет этот новый дух коллектива, и к этому надо стремиться, либо он вступит с ним в резкий конфликт, и тогда он, несомненно, потерпит поражение.

9

Неожиданно в центре внимания экипажа «Державного» оказался расчет имени Петра Чайки. Некоторые комсомольцы не понимали, почему на собрании, где будет обсуждаться вопрос о передовой роли комсомольцев, доклад поручили Зеленцову. Ведь его расчет никаких выдающихся достижений не имел.

Сам Зеленцов понимал, что назначение его содокладчиком имело какую-то связь со спорами между ним и Ташыбаевым. Однако Донцов об этом не сказал ни слова, и артиллерист решил тоже не показывать вида: «Споры — спорами, а собрание — собранием». Пусть так.

— О чем только я буду говорить? — спросил он секретаря комсомольского бюро. — Мы ведь не выделяемся ни в хорошую, ни в плохую сторону.

— Вот вы и расскажете, почему не выделяетесь, — ответил Донцов.

Этот короткий разговор произошел на палубе. Корабль отставивался на рейде в бухте Соколиной. Свежий ветер выл в снастях «Державного», с размаху бил волнами о борт корабля. Зеленцов спустился в кубрик.

«Почему не выделяетесь?» — этот вопрос никогда в голову старшине не приходил. Люди у него неплохо знали свои обязанности, на одной из стрельб получили даже хорошую оценку. Правда, случай этот был единственный, но ведь и «удовлетворительно» — оценка положительная, само слово за себя говорит. Старшина покачал головой. Дисциплинарных взысканий никто в расчете не имел. Был у него даже один отличник. «Ладно, расскажу, как расчет мой учится, что комсомольцы делают, а там пусть народ как хочет, так и судит», — решил он.

Вскоре состоялось и само собрание. Уже перед его началом комсомольцы почувствовали, что, хотя и по-вестка дня была обычной и в самой подготовке к собранию не было никакой торжественности, всему придавалось какое-то особое значение. В кубрик один за другим вошли Высотин, Парамонов, Озеров. Среди своих матросов уже сидели коммунисты — командиры боевых частей.

— Ого, что-то будет, чуёт мое сердце, — сказал Петров Зеленцову. — Держись, Степа!

Зеленцов усмехнулся, однако, оглядевшись, увидел на всех лицах настороженное внимание. «А пожалуй, радист прав», — подумал он.

Ташыбаев, избранный в президиум собрания, представил слово для доклада Донцову.

— Как понимать слово «отстающий», — начал Донцов, — как его понимать, товарищи комсомольцы? Только

ли тот отстаёт, кто относится к своему долгу недобросовестно, знает его плохо? Кстати, таких у нас на корабле почти нет, а очень скоро вовсе не будет. Я думаю, отстающим мы должны считать всякого, кто не является передовым воином, потому что не сегодня-завтра он отстанет от тех задач, которые ставят перед нами партия и правительство. Каждый комсомолец должен быть отличным специалистом!..

Слова Донцова заделали многих присутствующих. Конечно, большинство из них не были чистыми «троечниками». Один получал отличные оценки на политзанятиях, у другого и по специальности дело обстояло почти хорошо. И до сих пор они считали, что их служба идет, «как положено», и что знания и навыки приходят сами собой в учебе с течением времени к каждому, в зависимости от его способностей. Но чтобы все в короткий срок могли стать отличными специалистами? Об этом раньше никто не думал.

— Поди-ка, попробуй. Сделай Стебелева Донцовым, а Зеленцова Ташыбаевым! — шепнул Мошкин, наклонившись к сидевшему впереди него Салиеву.

Когда Донцов закончил доклад, у многих создалось такое впечатление, что секретарь поставил неразрешимую задачу. Зеленцов почувствовал это, и на душе у него стало легче. Нахмурившись, он пошел к столу президиума.

Выступление у Зеленцова было подготовлено основательно. О каждом из комсомольцев расчета он рассказывал довольно подробно. Но существо всего, что он говорил, можно было бы свести к одной мысли: «Если ругать кого надо, то, наверное, есть другие похуже. Если хвалить или опыт изучать — так есть у нас образцовый ташыбаевский расчет. А мы люди тихие, тянем по-маленьку, растем понемногу, когда-нибудь и вырастем».

Старшина не привык выступать на собраниях, не любил находиться в центре внимания. В этих случаях он терялся, с трудом находил нужные слова и чувствовал себя виноватым, хотя и был уверен, что никакой вины за ним нет. А тут еще приходится выступать вразрез докладу, да в присутствии самого командира корабля. Только сочувственные взгляды некоторых комсомольцев поддерживали в нем бодрость духа.

Закончив выступление, Зеленцов решительно отошел от стола и присел на свободный краешек скамьи в последнем ряду, где сидели люди его расчета. Тут он, наконец, облегченно вздохнул. Однако спокойствия на этом собрании старшина так и не обрел.

— Помните ли вы, товарищ Зеленцов, о Петре Чайке — ведь ваше орудие носит его имя? — спросил Салиев.

— Долго ли собирается расчет, в котором все комсомольцы, быть среди троечников? — спросил Озеров.

Зеленцов поднялся и сказал, что о подвиге Петра Чайки они, конечно, помнят и, если понадобится, в бою будут вести себя так же, как он. Но что на вопрос Озерова, к сожалению, он ответить сейчас не может.

— Не можете? — спросил Ташыбаев, забывши, что он ведет собрание. — А знаете, вам особенно стыдно плестись в хвосте. Командовать орудием, ноським имя героя, — особая честь. А чтоб вести себя как Петр Чайка, надо дело свое любить и знать не хуже его.

Зеленцова будто обожгли эти слова. Он взглянул на своих соседей. Они сидели, опустив глаза.

Высотин внимательно прислушивался к выступлениям. Было очень важно, чтобы, говоря на собрании о задачах всех комсомольцев, в то же время не вздумали обсуждать чисто служебных действий комсомольцев — командиров подразделений. «Здесь этому не место, — думал он. — Авторитет даже самого маленького единоначальника должен быть непререкаемым для его подчиненных. В бою не бывает времени для дискуссий». Реплика Ташыбаева показалась поэтому Высотину неуместной, и, воспользовавшись короткой паузой, он сказал:

— Товарищ Зеленцов хороший и исполнительный командир. Комсомольское собрание должно обсудить, как помочь людям его расчета быстрее стать отличными артиллеристами.

Зеленцов покраснел и посмотрел с благодарностью на командира корабля.

— Кто хочет слова? — спросил Ташыбаев и обвел глазами присутствующих в кубрике. И тут случилось непредвиденное — не поднялось ни одной руки.

— Кто будет говорить? — повторил вопрос Ташыбаев. «Что это все сидят, как в рот воды набрали?» И, не зная сам почему, он постучал карандашом по столу, словно этим стуком требуя внимания к своим словам или скрывая свое смущение.

Донцов растерянно взглянул на Озерова, тот на Парамонова. Замполит, однако, в ответ улыбнулся. Опытный партийный работник, он знал, когда на собраниях отмалчиваются, потому что не о чем говорить, потому что поставленный вопрос не трогает за живое, а когда молчание — только признак того, что люди обдумывают нечто новое и важное для себя перед тем, как принять решение.

Ташыбаев наклонился к Донцову, советуясь, не объявить ли перерыв.

— Прощу слова! — вдруг тихо сказал Салиев.

— Пожалуйста, — обрадовался Ташыбаев. «Ну, что за привычка у ребят — ждут, пока кто-нибудь первый начнет, а потом приходится ограничивать время».

— Недавно вы, товарищи комсомольцы, рекомендовали меня как отличника в партию, — сказал Салиев, подходя к столу. — И вот как молодой коммунист я хочу сказать — будет мое отделение к концу кампании отличным! Ручаюсь, будет. — Он обвел всех мягким спокойным взглядом, всегда хранящим мечтательное выражение. — Себе ни одного дня отдыха не дам, пока каждый котельный машинист не узнает то, что знает Салиев... Главное, я считаю, захотеть так, — он на минуту задумался, подыскивая сравнение, — ну, так, чтобы больше, чем в пустыне пить хотелось, тогда все сделать можно...

Салиев сел. Еще секунду длилась новая пауза, и вдруг прорвалось.

Поднял руку Петров, за ним Мошкин, а затем уже не одна, а добрый десяток рук.

Огличники говорили о том, как они собираются передать свои знания и опыт, троечники сами стремились тут же рассказать о своих недостатках и давали слово их исправить.

У Озерова просветлело лицо. Это была, наконец, та комсомольская масса, из которой он недавно сам вышел, к которой только поднеси искру — и вспыхнет огнем. Теперь уже он мог выступить и сам. Теперь он чувствовал, что все правильно его поймут, когда он скажет, что

все, чем бы ни занимался на досуге моряк, о чем бы он ни мечтал, является второстепенным по сравнению с его службой. Все силы его души были собраны. Озеровым владело такое чувство, какое бывает у командира, когда он готовится повести бойцов в атаку. Озеров поднялся:

— Товарищи, друзья мои, как много еще каждый из нас может сделать для родины, для ее флота...

По трапу, ведущему в кубрик, спустился штурман.

— Товарищ командир, — доложил он, обращаясь к Высотину, — получен приказ идти в Седые Буруны.

Высотин и Парамонов вышли. Тотчас же после выступления секретаря партбюро Донцов предложил сделать перерыв.

## 10

Седые Буруны — о многом говорили морякам это название. Судходный фарватер здесь был узок и извилист, как ходы в лабиринте. Кораблю грозили подводные камни, вокруг которых дымилась пена, и мели, скрытые темной водой. Даже в тихую погоду нелегко было здесь вести корабль, а при свежем ветре от моряков требовалось еще и незаурядное умение и выдержка. Умный командир внимательно прислушивался здесь к советам опытных подчиненных. Всякая небрежность и самонадеянность были равнозначны катастрофе.

Среди моряков в Белых Скалах популярен был анекдот о трех записях в корабельном журнале одного самонадеянного командира.

«Я вышел в море», — гласила первая запись.

«Я подошел к Седым Бурунам», — говорила вторая.

«Мы сели на мель», — подводила итог третья.

Один только Светов смеялся над этим анекдотом, проходя на «Державном» через Седые Буруны. Но Светов был отчаянная голова, человек с исключительно развитым чувством моря, и то, что сходило ему, едва ли сошло бы благополучно кому-либо другому.

...У штурвала «Державного» стоял самый опытный рулевой, в машинном — лучшие машинисты. В ходовой рубке — рядом Высотин и Кипарисов. Штурман Российский проверял прокладку курса.

На палубу вышел Плакуша. Он заметно волновался.

Опасность легко было определить по большому числу самых разных вех ограждения. Вот вехи с ярко-красными шестью и голиками, напоминающими открытую воронку; эти указывают на опасность с севера. Вехи белые с голиками, черными, опрокинутыми раструбами вниз, обозначают опасность с юга. Другие стоят непосредственно над мелями, рифами и банками.

Волны накатываются на буй, осыпают его брызгами, «Державный» вынужден проходить рядом с вехами, «резать» вехи, как говорят моряки. У Плакуши всякий раз замирает сердце...

— Вон ту веху снесло, определенно снесло, — говорит фельдшер подошедшему Гаранину. — Надо доложить командиру.

— Да почему же снесло? Штормов-то давно уже не было.

— А вдруг судно какое-нибудь зацепило?

— Успокойтесь, милый эскулап. У хорошего командира «вдруг» ничего не случается.



— А наш — хороший?

— Хороший, — убежденно отвечает Гарантин, но думает: «Все-таки первый раз здесь корабль ведет».

...Высотин целиком положился на штурмана. Россинский, гордый доверием командира, решил блеснуть своими мореходными знаниями. Тонкие брови его напряженно сдвинуты, воинственно топорщится борода. Время от времени Высотину кажется, что вон ту крестовую вежу лучше обойти не с оста, а с веста, но он молчит. Во-первых, штурман опытен. Во-вторых, времени для колебаний нет. Рулевой каждую минуту должен получать только одно приказание, пусть даже не самое лучшее, но одно.

Океан бьется свирепо о скалы, и гул его однообразен и протяжен, как человеческий стон. Холмистая полоса берега, заросшая лесом, то оказывается совсем близко от корабля, то отступает вдаль, бросая на воду глянцевирую тень. Кипарисов, окончив вместе со штурманом навигационные расчеты, стоит на мостике, скрестив руки на груди.

Эхолот показывает приближение мели. Вдалеке показались острова, увенчанные горами. Вершины их окутаны туманом. Горный хребет сполз в океан, преградив дорогу кораблю.

Только два узких пролива, два коридора меж скалами открыты перед «Державным».

Мели всё ближе и ближе; волны бегут над ними торопливо, и цвет их кажется блеклым, как у осеннего неба.

Россинский хочет войти в северный пролив, по которому ходил уже не раз; южный знаком ему меньше, и фарватер там гораздо опасней. Однако в северном проливе навстречу «Державному» с океана движется длинный караван рыбацких судов. «Не разминуться нам с рыбаками, — думает Высотин. — И ждать, пока они пройдут, времени нет».

Россинский колеблется. Ручка машинного телеграфа сдвигается на «самый малый», потом на «стоп». Сильное течение и ветер сносят «Державный» к мелям.

Высотин делает шаг по направлению к штурману.

«Здесь излишняя осторожность Россинского только во вред!» — решает он, вспоминая советы Золотова и мысленно проверяя их своими расчетами.

— Полный вперед!.. — командует Высотин.

«Державный», оставив позади себя мели, подходит к южному проливу.

Теперь Высотин уже на малом ходу решительно вводит корабль в теснину между нависших с обеих сторон скалистых берегов.

Тихо становится в штурманской рубке. Слышно лишь сухое пощелкивание лага.

...Проходит минута, другая... третья... Точно горный поток, бешено мчится вокруг вода в проливе. На мокрых скалах отражается тень проходящего «Державного»... Наконец впереди густо синеют гребни волн... Снова слышатся слова команды...

«Державный» стремительно вырывается на шквалистый океанский простор.

Россинский, поджавший было обиженно губы, с невольным уважением смотрит на Высотина. «С моряцким талантом человек, — думает он о командире, — ведь первый раз в этих местах...».

Зеленцов спустился в кубрик поужинать, сел за стол и придвинул к себе бачок с супом. Вокруг еще шли разговоры и споры о комсомольском собрании. У всех настроение было возбужденное и приподнятое. Один Зеленцов ел молча. Однако даже самые тяжелые переживания не отражались на аппетите старшины. Он опорожнил свою миску и, постучав ложкой по краю стола, потребовал добавки. Сидящий напротив него Петров добродушно пошутил:

— Насчет чревоугодия Зеленцов мастак, любого за пояс заткнет. Отличник гастрономии!

В другое время Зеленцов только улыбнулся бы на шутку и сам ответил бы пословицей: «Каков едок, таков и работник», но сегодня это, казалось бы, безобидное замечание больно его задело.

Он втянул голову в плечи и покраснел: «Можно ли так наваливаться на человека? Троечник. Слово-то какое обидное». Все плохое, что говорилось на комсомольском собрании, Зеленцов относил теперь непосредственно к самому себе.

Потупив глаза, Зеленцов быстро доел ужин и, выйдя на палубу, остановился у своего орудия.

Длинный многопудовый ствол пушки высовывался из броневого щита. «Державный» шел в океане, зарываясь носом в волны, и ствол то наклонялся, будто беря под прицел морское дно, то поднимался к небу.

«Вот так же было позавчера, — вспомнил Зеленцов день тренировочных стрельб. — Едва-едва «на удочку» вытянул».

Корабль сильно качало, и старшина с трудом удерживал равновесие на скользкой палубе. Он подошел вплотную к броневому щиту, оперев плечом о него.

«Ну, конечно, попробуй при такой качке стрелять. — Зеленцов привычно подыскивал себе оправдания, но сегодня они не приносили ему утешения. — А почему же мог Тапыбаев?» Эта мысль не давала старшине покоя, и, что хуже всего, заставляла снова вспоминать о своем содокладе.

Ему было стыдно перед артиллеристами расчета, которые верили в него, любили его, а сегодня вынуждены были краснеть, слушая выступление своего командира на собрании; было стыдно и перед товарищами-старшинами, которые до сих пор считали его человеком основательным и понимающим; перед лейтенантом Гарантинным, выдвинувшим год назад его, тогда отличного замочного, на должность командира орудия. Зеленцов попытался отвлечься от тяжелых переживаний мыслями о доме, куда через год-два вернется, но и эти мысли сегодня принимали необычное направление: «Каково будет матери узнать, что ее Степа, ее сын, морской службой которого она так гордилась, оказывается, на корабле человек посредственный, да еще на собрании опростоволосившийся. «Полбеда — человек отстал; две беды — догонять не хочет», — вот что она бы мне сказала».

Зеленцову захотелось сейчас же, не сходя с места, увидеть и понять, в чем же заключались ошибки его расчета.

Он пристально и долго смотрел на неподвижные стрелки приборов и рычаги, на прикрытый парусиной замок орудия, и у него появилось такое ощущение, будто

все это только на мгновение замерло и сейчас снова начнет вращаться, двигаться, вспыхивать пламенем.

Он представил себе бойцов своего расчета, попытался мысленно увидеть своих комендоров в действии, чтобы по-новому оценить их. И так как он служил уже не первый год и все, о чем он теперь думал, давно вошло в его плоть и кровь, перед ним вырисовывалась картина, поразительная по своей четкости и ясности. Сидевшие на вращающихся сиденьях наводчики — вертикальный и горизонтальный — совмещали стрелки на циферблатах, замочный уверенными движениями быстро открывал и закрывал замок орудия, так же четко и споровисто действовал трубочный. Звучал ревун, и прерывали выстрелы. Все шло, как положено, по наставлениям и инструкциям. Зеленцов не мог уловить никаких ошибок и погрешностей.

Расстроенный и удрученный, он посмотрел на бронзовую дощечку, укрепленную на броневом щите орудия, где была выгравирована надпись, которую он уже знал давно наизусть, слово в слово: «Орудие имени старшины второй статьи Петра Чайки, павшего смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины». Зеленцов вспомнил срисованный Гараниным с фотографии и висевший в каюте политпросветработы портрет прославленного артиллериста. «Вот с кем бы поговорить, — подумал Зеленцов. — Спросил бы я его: «Ну, что ж мне делать? В чем я виноват? Ведь все здесь до тонкости изучил: каждый прибор, шестеренку, винтик, гайку. Спроси у меня, например, сколько нарезов в канале ствола или сколько снаряд весит. Хочешь, с завязанными глазами замок разберу и соберу. Так чего же мне нехватает?»

Приближались сумерки, и в сереющем небе, будто проступая из мглы, вырисовывались холодные и чистые, как льдинки, звезды, а волны постепенно из светлых превращались в иссиня-черные.

Озеров и Гаранин, разговаривая, шли по палубе.

Увидев силуэт коренастого артиллериста, в одиночестве стоявшего у орудия, офицеры подошли к нему.

— Что закручинились, старшина? Уж не на критику ли обиделись? — спросил Озеров.

— Нет, не обиделся, товарищ лейтенант, — сказал Зеленцов, — а вот докопаться не могу, почему у меня дело не ладится. — Он с затаенной надеждой взглянул на Гаранина. Но Гаранин и сам не мог сейчас сказать ничего определенного.

— Вместе подумаем, найдем причину, — сказал Озеров.

— Изучать надо орудие, знать, как свои пять пальцев. — Гаранин положил руку на замок.

— Так разве ж я не знаю?

— Вот послушайте, старшина, — сказал Гаранин. — Когда я практику еще проходил, пришлось мне наблюдать такой случай. За несколько часов до стрельбы один комендор начал разбирать замок у автоматической пушки. Когда спросили его, зачем он это делает, комендор ответил: «Чувствую, скоро боек из строя выйдет, сменить его хочу». Комендора знали как отличного артиллериста, но все же верить его чутью не было прямым оснований. Офицер приказал испытать боек, и что вы думаете? Как в воду артиллерист глядел — сломался боек на четвертом выстреле.

— Талант, значит, у человека такой был, — довольно равнодушно сказал Зеленцов.

— Талант — от любви к оружию, — заметил Гаранин.

— Да, это правильно, — вмешался Озеров. Он понимал, что все-таки не об этом и не так надо сегодня говорить. — Вот что, старшина, — сказал он, обращаясь к Зеленцову, — идите-ка сейчас отдыхать, утро, говорят, вечера мудренее. Завтра мы с командиром боевой части придем к вам на тренировку.

## 12

Гаранин пригласил Озерова в свою каюту. В последние дни он работал, как никогда, много и упорно. Чувствовал, что и командир, и замполит, и секретарь партбюро теперь не спускают с него глаз, и хотелось доказать всем, что он знаток своего дела. На столе лежал аккуратно перепечатанный на машинке отчет о последних стрельбах; рядом, еще весь в помарках, черновик плана одиночного показательного ученья для орудия Ташыбаева. Вводные: на такой-то минуте убит командир, на такой-то произошел «затяжной выстрел», на такой-то необходимо заменить стреляющее приспособление... Открытые или щетинящиеся картонными закладками справочники, инструкции, формуляры, корабельные расписания — все говорило о том, что хозяин выходит из каюты ненадолго, с тем чтобы, возвратившись, снова сесть за стол. Мысли о Любаше время от времени появлялись, заставляя тревожно сжиматься сердце, но теперь Гаранин не давал им овладеть собой. Чем напряженней он работал, тем лучше себя чувствовал.

— Хочу провести беседу со старшинами «О сознательном автоматизме». Как вы считаете? — спросил Гаранин у Озерова.

— А что вы имеете в виду?

— Мне кажется, — сказал Гаранин, — что, тренируя матросов, вырабатывая у них навыки, наши командиры расчетов часто забывают объяснить им, зачем эти навыки нужны. — Он немного подумал. — А каждый наводчик, скажем, должен понимать, что ошибка в две, три тысячные, допущенная им при совмещении стрелок, даст на средней дистанции немалое отклонение снаряда от цели. В общем, автоматическая точность движений, которая определяется высоким сознанием ответственности, — вот что я называю «сознательным автоматизмом».

Озеров подумал, что Гаранин, конечно, прав, но что вопрос о сознательности надо ставить гораздо шире. Мысли своей он, однако, высказать не успел. В каюту вошел Ташыбаев. Попросив разрешения обратиться к Гаранину, он сказал:

— Товарищ лейтенант, сегодня день рождения старшины второй статьи Зеленцова.

— Очень рад. Но что из этого? — Гаранин, занятый своими мыслями, не понимал, зачем нужно было ему докладывать о таком сугубо личном деле.

— Хотели мы отметить, за вечерним чаем... — замылся Ташыбаев.

Озеров вспомнил мрачное лицо стоявшего в одиночестве у орудия коренастого артиллериста и сразу понял, что дело здесь не такое уж личное и не такое мелкое.

— Правильно, Ташыбаев, — сказал он.

— Отмечайте! — согласился и Гаранин.

У Зеленцова не было в обычае праздновать день своего рождения, а за всеми нынешними хлопотами и переживаниями он и вовсе о нем забыл. Спустившись в кубрик к вечернему чаю, старшина остановился у трапа и даже заморгал удивленными глазами. За столом, накрытым белоснежной скатертью, сидели матросы.

— Ну, вот и он, сегодняшней герой, — сказал Донцов. А Петров, выложив коробку конфет, подхватил Зеленцова под руки и потащил к почетному месту во главе стола.

«Что они, надо мной посмеяться хотят?» — мелькнула мысль у Зеленцова. Однако в эту минуту из люка показался Мошкин с пачками бисквита в руках, а за ним Гаранин и Озеров.

— Смирно! — скомандовал Донцов и доложил: — Товарищ лейтенант, личный состав отмечает день рождения старшины второй статьи Зеленцова! Разрешите продолжать.

— Волюю! — Гаранин улыбнулся. — Поздравляю вас и желаю успехов в жизни и учебе, — сказал он, подходя к Зеленцову и пожимая ему руку. Вслед за офицером двинулись матросы с подарками: Ташыбаев с книгой, Мошкин с футлярчиком, в котором лежала безопасная бритва, Донцов с самопишущей ручкой. Все они пожимали Зеленцову руку, поздравляли, а он стоял смущенный, обрадованный, растерянный, забывая даже благодарить за подарки.

— Эх, товарищи вы мои! — только и мог сказать старшина.

Перед самым отбоем на койку Зеленцова подсел Ташыбаев и сказал серьезно:

— Хочешь, приду завтра посмотреть, как твой расчет учится. Может, что дельное посоветую.

— А лейтенант разрешит? — спросил Зеленцов.

— Конечно, разрешит, — ответил Ташыбаев.

На следующее утро Озеров, Ташыбаев и Гаранин, державший в руках хронометр, наблюдали за тренировкой расчета Зеленцова. Все шло, как обычно, и снова матросы едва укладывались в установленные инструкцией нормы времени.

Вдруг Ташыбаев, пристально за всем наблюдавший, попросил Гаранина остановить тренировку. Потом он быстро подбежал к остановившемуся на месте замочному и легонько толкнул его. Матрос едва удержался на ногах.

— Не так стоите, — возбужденно сказал Ташыбаев. Матрос посмотрел на него удивленно и рассерженно. Но Гаранин и Озеров уже поняли, в чем дело.

— Ну-ка, станьте, как показывает старший матрос, — приказал Гаранин.

Замочный поглядел на Ташыбаева и ничего не понял. «Что в нем особенного, и он и я по инструкции действуем. Значит, разницы никакой нет!»

— На ноги, на ноги смотрите! — сказал Ташыбаев.

«Да, как будто пиры расставлены, — подумал замочный, — и носки внутрь. А толку что?»

Замочный выполнил приказ неохотно, но едва он переменил позу, как почувствовал, что прежнее его положение было неудобным и напряженным, а в нынешнем он твердо стоит на палубе, без всяких усилий выполняя свое дело.

— Ну, как? — спросил через минуту Озеров.

— Сподручней, — улыбаясь, ответил замочный.

— И уже сейчас быстрее, — взглянув на хронометр, сказал Гаранин.

Зеленцов сам стал на место замочного, попробовал открыть и закрыть замок в том и другом положении.

«Так я ведь сам всегда стоял, как Ташыбаев. Почему же у матроса своего ошибки не заметил?» — подумал он.

Корабль шел экономическим ходом. Мерно вздрагивала под ногами палуба; расцветенный восходящим солнцем океан голубым ковром стлался перед «Державным».

— Знаете, что мне пришло в голову сейчас? — сказал Гаранину Озеров. — Трудно будет расчету Зеленцова заметить и устранить мелкие шероховатости, сколько бы раз он ни выполнял общие задачи. Тут, по-моему, надо все расчлнить: учить каждого бойца сначала выполнять лишь одно движение, отшлифовать его до совершенства, затем перейти к другому, третьему, соблюдая точную последовательность действий.

— Так я и делал, — обрадованно сказал Ташыбаев.

Гаранин, однако, только кивнул головой, занятый какой-то своей мыслью.

— Продолжать тренировку! — приказал он.

На посту центральной наводки произвольно выбирали цель за целью. Послушные посылаемым оттуда импульсам электрического тока, качались из стороны в сторону стрелки на циферблатах у орудия. И здесь наводчики, вертикальный и горизонтальный, следили за ними неотрывно, зажав в руках штурвальные колеса, управлявшие другими, подчинявшимися их движениям стрелками. Не отстать! Не прозевать! Успеть совместить обе стрелки в одной точке, по сигналу ревуна нажать педаль — и тогда произойдет выстрел безошибочный и меткий. Разойдутся стрелки хоть на одно деление, и вероятность попадания резко уменьшится, больше разойдутся стрелки — и выстрела совсем не произойдет.

Каждое движение наводчика должно быть уверенным и точным, как у водителя, когда его машина мчится по крутой обледенелой дороге, петляющей меж скал и пропастей, как у токаря, работа которого проверяется с помощью микрометра. Здесь знания и навыки должны стать как бы шестым чувством.

Ошибки наводчиков орудия Зеленцова не были значительными, не выходили за пределы нормы, но все же полностью уверенным в расчете нельзя было быть. «Если в штурм стрелять придется, пожалуй, пропусков не избежать», — подумал Гаранин.

— Замените вертикального наводчика, — приказал он Зеленцову.

Став за спиной старшины, командир боевой части следил за циферблатом. Все ясно. Наводчиком тот никогда не был и учиться этому делу не хотел. Как же он может учить других? Гаранин не стал делать Зеленцову замечаний при подчиненных, тем более что по смущенному лицу старшины видно было, что он и так все понял.

— После ужина придете ко мне, товарищ старшина

второй статьи, — только и сказал Гаранин, — обсудим вместе план учебы вашего расчета и ваш личный тоже.

Весь этот день Зеленцов ходил возбужденный и взволнованный, что-то записывал в своем блокноте и часто советовался с Ташыбаевым. Вечером он отправился к командиру боевой части и застал его вместе с секретарем партбюро за составлением плана лекций для артиллеристов.

— Да-да, входите, — откликнулся на стук Гаранин и, обернувшись снова к Озерову, видимо заканчивая какую-то мысль, сказал: — Чувствую себя виноватым! Давно бы мог.

## 15

Махотин и Салиев поднялись из машинного отделения. Разговаривая, они вышли на полубак.

«Державный» по узкому и глубокому, причудливо изгибающемуся фарватеру входил в бухту Звездочка. Вода в ней была такой прозрачной и чистой, что виднелись белые камни на дне, будто выложенном серебристой глиной. Солнечные лучи пронизывали воду насквозь, как воздух, и вся бухта, казалось, светилась изнутри, излучая золотистое сияние.

Гавань окружали зеленые, заросшие лиственницами островки. Пролиты между ними, более широкие у выхода в океан, постепенно сужались далее, чтобы затем исчезнуть меж скал. Вдалеке виднелись высокие мачты флагманского корабля «Морская держава», стоящего на рейде.

Махотин и Салиев остановились. Разговор об экономии мазута, который они вели, как-то сразу оборвался. Старшина не мог оторвать глаз от сверкающей воды и тенистого берега. Если бы можно было, он бы сейчас стал декламировать какие-нибудь стихи о прекрасной и вечной природе — что-нибудь из Фирдоуси, Омар-Хаяма или Саади. А Махотин и красотой любовался молча, только по блеску его сразу потеплевших глаз можно было понять, что он не остался равнодушным.

В воздухе было полное спокойствие. Но у стоявшего на палубе Ташыбаева ленты на бескозырке беспрерывно вихрились. Матрос оглянулся, потом снял бескозырку с головы и присел над приточной решеткой котельного вентилятора, у которой до сих пор стоял.

Махотин заметил недоумение матроса и направился к нему.

— Не поднимайтесь, не поднимайтесь! — сказал инженер подходя. — Ну, что, сообразили, в чем дело?

— Не совсем, — признался Ташыбаев. Столо поднести бескозырку к одному концу решетки, и ленточки начали вертеться, будто попали в центр розы ветров; у другого конца они выпрямлялись, устремляясь вниз, и бескозырку рвало из рук. — Что это значит?

— А это значит, будущий кораблестроитель, — сказал Махотин улыбаясь, — что шахта, по которой идет воздух к вентилятору, имеет многочисленные углы и повороты.

— Вот поглядите, — продолжал он, указывая на решетку, — втягивается тут и устремляется вниз воздушный поток, а потом ударяется об один, другой угол, и начинает вертеться, как сверло.

— Плохо это? — спросил Ташыбаев.

— Что уж хорошего? Видели, как на больших ходах нет-нет да появится шапка дыма над трубой, и от машин тогда шум такой, будто у них одышка?

— Помпаж называется, — сказал подошедший Салиев, — рывками, неравномерно вентилятор воздух в котел подает.

Ташыбаев задумался.

«Державный» замедлил ход. Потревоженная его винтами гладь бухты кипела за кормой искрящимся водоворотом.

— Недостаток, конечно, мало существенный, а все же... ну, на новейших наших кораблях этого уже нет. — Махотин бросил взгляд на берег с новыми домами в портовом поселке и ушел.

«Державный» приближался к флагману.

— Хотел бы я в шахту слазить, посмотреть, как и что, — сказал Ташыбаев.

«Для учебы, наверно», — подумал Салиев.

— Что ж, хоть сегодня, как остановим машины, — сказал он, — а пока, если хочешь, пойдем, я чертежи тебе покажу.

Горнист на «Державном» сыграл «захождение». Корабль поравнялся с «Морской державой». По этому сигналу Ташыбаев, Салиев, а вместе с ними все находящиеся на верхней палубе матросы повернулись лицом к флагману, застыв в положении «смирно», а офицеры, мичманы и главные старшины, отдавая честь, приложили руки к головным уборам.

Вверху, на пропывающем мимо мостике «Морской державы», рядом с командующим, Высотин разглядел полную фигуру Золотова.

«Не сидится Терентию Ивановичу в каюте», — подумал он.

## 16

Парамонов сказал Донцову:

— Радиогазета — большая сила в борьбе за отличный корабль. Помогайте мне двигать это дело вперед...

Донцов неизменно присутствовал теперь на заседаниях редколлегии, наблюдал за всеми звукозаписями и радиопередачами. Поэтому, сменившись с вахты, он и сегодня направился прямо в каюту политпросветработы.

Подготовка к записи на пленку была в полном разгаре. Петров заставлял Ташыбаева в четвертый раз перечитывать вслух текст его заметки «О полной взаимозаменяемости в артиллерийском расчете». Ташыбаев старался изо всех сил, однако редактору угодить было трудно. То ему не нравилась дикция, то темп чтения казался слишком быстрым, то начинал он сомневаться в каком-нибудь ударе и не успокаивался до тех пор, пока не отыскивал нужное слово в увесистом четырехтомном «Толковом словаре» Ушакова, лежавшем перед ним.

Ташыбаеву это надоело.

— Читай сам за меня, — сказал он, кладя на стол заметку.

Но Петров, наконец, смилостивился.

— Тишина! — объявил он. — Включаю магнитофон!

Замерли на своих банках певцы из корабельного хора, Вася Мошкин с пачкой писем от знатных людей страны, лейтенант Плакуша, который, безмолвно шевеля губами, перечитывал свою статью о правилах личной гигиены.

Донцов слушал Ташыбаева, старавшегося произносить слова особенно четко, без характерного для него акцента, и улыбался ему дружески. Потом он скосил глаза на Стебелева, молча читавшего в углу книгу. «Облюбовал себе это место, сидит каждый день один, как сыч. Хоть гром здесь грянь — все будто его и не касается», — подумал Донцов.

Хотел этого Донцов или не хотел, а поговорить серьезно со Стебелевым ему надо было снова. Сегодня он узнал, что Стебелев плохо отвечал на политзанятиях. Может быть, еще неделю назад секретарь комсомольского бюро не обратил бы на это особенного внимания, но теперь он всерьез призадумался. Стебелев отныне решал: быть боцманской команде отличной или не быть. И надо было во что бы то ни стало найти путь к сердцу матроса.

Стебелев меж тем перевернул страницу, посмотрел на Ташыбаева и Донцова и, сжав ладонями виски, продолжал читать. Собственно, и ему было не до чтения. Он сейчас завидовал здесь всем. Завидовал Ташыбаеву, чьи слова с уважительным вниманием будет слушать весь экипаж; Петрову, весело распоряжавшемуся товарищами; Донцову, который сидел здесь уверенно, с видом хозяина. Стебелеву тоже хотелось бы чувствовать себя вот так же легко и свободно, как чувствовали себя они, но он не решился подать голоса. «Еще скажут: «Ну, что тебе здесь надо, зачем лезешь не в свое дело?..»

Ташыбаев кончил читать. Теперь Петров репетировал с хором электромеханической боевой части «Песню о «Варяге». Это была одна из самых любимых песен Стебелева. Он отложил книгу и стал покачивать головой в такт песне, но вот кто-то из хора сфальшивил на высокой ноте. «Эх...» — вырвалось у Стебелева. Он сморщился и прикусил губу.

Петров прервал песню взмахом дирижерской палочки.

— Что, не так поют? — спросил Донцов, подсаживаясь к Стебелеву.

— Не так! — ответил он, не смотря на Донцова, все еще не желая расстаться с настроением, навеянным на него старой песней.

Хор начал с начала, и снова, теперь уже в первом куплете, тот же голос сфальшивил.

— «Поцады никто не желает», — неожиданно с места в полный голос пропел Стебелев.

Песня оборвалась. Хористы, удивленные, обернулись к Стебелеву, но он сразу же смуглился, замолчал и, рассердившись на себя, хмуро, насупившись поднялся из-за стола.

— Прямо Шаляпин, — сказал одобрительно Донцов.

Петров, собиравшийся рассердиться на непрошенное вмешательство, подумав, произнес значительно:

— Голос необработанный, но многообещающий.

— От нас прямо в Москву, в Большой театр пойдемь! — пошутил Мошкин.

Стебелев недоверчиво посмотрел на Мошкина. Ему показалось, что тот над ним смеется. Ничего не сказав, он направился к выходу. Донцов пошел за ним.

Выйдя на полубак, Стебелев достал кисет, свернул папиросу, глубоко затянулся. Над водой, залитой багро-

выми ответами заката, стлались легкие полосы тумана. На горизонте показались дымки, затем суда китобойной флотилии.

Оттого ли, что предвечерний воздух был необыкновенно свеж и чист, оттого ли, что все вокруг было удивительно красиво, оттого ли, что дым махорки давно не курившему Стебелеву показался особенно приятным, но только обида отлегла от сердца. «И чего я, собственно, раскипятился?» — подумал он.

В это время на полубак вышел Донцов.

— А у вас ведь, правда, хороший голос. Я это сразу чувствую. Мы, одесситы, море и песню понимаем и любим. — Донцов смотрел открыто и дружелюбно.

С тех пор как Донцов сам совершил ошибку на гонках, он почему-то стал для Стебелева как-то понятней и даже симпатичней; то, как комсомольский секретарь признал свою вину, невольно вызвало у Стебелева уважение. И все же отношения между ними еще не наладились. И сейчас матрос попытался по привычке вызвать у себя раздражение.

«Будто ничего и не было между нами, будто не он про меня заметку писал», — подумал Стебелев. Обычно одной такой мысли было достаточно, чтобы почувствовать неприязнь к человеку и оттолкнуть его, но сейчас сердиться почему-то не хотелось; наоборот, хотелось, чтобы старшина продолжал говорить вот так же дружелюбно и просто, как начал.

— Вы из Одессы-мамы, значит? — неловко пошутил Стебелев.

— Из Одессы! — подтвердил Донцов. — Чудесный город. Только одного не пойму: зачем в разговорах, как вспомнят об одессите, значит, обязательно анекдот: «Жора, покачай стол, не могу жить без шторма», или песня про чудачку-Соньку, или «Одесса-мама». Право, обидно.

— Да я ведь не хотел, — смуглился Стебелев.

— И я не про вас. — Донцов улыбнулся.

Они помолчали, покуривая, смотря на простирающийся перед ними океан.

— В Сибири у нас сейчас пшеница уже по пояс, а по Енисею плоты идут; огни ночью по реке плывут — плотовщики костры разжигают. — Стебелев вздохнул.

— Хорошо в Сибири?

— Куда уж лучше!

Снова наступила пауза. Стебелев задумался о далеком родном крае, глаза его потеплели, и Донцов впервые почувствовал, что перед ним вовсе не озлобленный и угрюмый, а просто чем-то обиженный, чего-то не понявший человек, прячущий свое душевное тепло за показной грубостью. «Сейчас с ним можно говорить обо всем», — подумал Донцов.

— Хотим команду боцманскую отличной сделать. Как считаете?

— Отличной? — Стебелев будто очнулся. — Подведу я вас.

— Почему подведете?

Стебелеву не хотелось об этом говорить. Однако, чувствуя себя обязанным ответить, он сказал:

— Вот на политзанятиях вчера сплеховал. Не дается мне политика.

— Политика, она ведь во всей нашей жизни. Разве жизнь не дается? Что-то не то... А?

— Нет, верно. — Стебелев понял желание Донцова узнать все всерьез до конца и решил сказать правду. — Вот как будто самое существенное и пойму, а ответить надо — так в слова мои корявые никак той мысли не уложить. — Стебелев вспомнил, как отвечал недавно, мучительно краснея, путаясь в формулировках, как обрадовался, когда лейтенант Плакуша, наконец, разрешил ему сесть, и добавил тихо: — А может, и понимаю я плохо.

— О чем спрашивали вас? Вы вторую главу проходите?

— Вторую. — Стебелев потер лоб рукой. — Почему так выходит, что рабочему классу вроде сверху вносили социалистическое сознание, будто сам он не мог прийти?

— Поняли это?

Стебелев отрицательно покачал головой. Он думал уже о том, как сказать Донцову, не обидев его, что, может, сейчас не надо говорить о делах, какие бы ни были эти дела. Но Донцов, взяв его за руку, указал на китобойное судно.

— Видишь?

— Вижу, а что? — не понял Стебелев.

— Как думаешь, может корабль без компаса в океане идти, в назначенную ему гавань прибыть?

— Трудно...

— То-то, что трудно. И блуждать он будет по океану долго, и опасностей лишних много встретит. А с компасом совсем другое дело, правда? Так вот и рабочее движение — как корабль, что по штормовому океану плывет, а научный социализм — компас, что ведет его напрямик к нужной гавани! Понял?

Стебелев, подумав немного, кивнул головой.

— В работах товарища Сталина об этом говорится, пойдем, дам тебе первый том. А статью «Коротко о партийных разногласиях» вместе читаем.

Стебелев, спускаясь за Донцовым в кубрик, с удивлением уловил в себе интерес к далекому от его повседневных мыслей и дел вопросу. Преодолевая чувство неловкости, он склонился вместе с Донцовым над книгой.

Настало время Стебелеву заступать на вахту, и Донцов прекратил чтение. В кубрике вспыхнул свет — вечерних теней как не бывало.

— Понравилось мне сегодня, — сказал Стебелев. — Значит, еще когда поможете?

— Обязательно помогу, — ответил Донцов.

## 17

«Державный» возвращался в Белые Скалы.

Стоял погожий вечер, и на полубаке собрались свободные от вахт моряки. Вдалеке показалась земля: голубая вспененная лента прибоя, желтый глинистый берег.

Донцов и Зеленцов стояли рядом и негромко беседовали.

— Понимаешь, занятия — раз, тренировки с Шерматом — два, учу его плавать — три, лекции лейтенант Гаранин читает — четыре, книги по артиллерии — пять! — Зеленцов загнул все пальцы на левой руке, распрямил пятерню и задумчиво почесал затылок. — Вот и выходит, некогда даже об агрономии подумать. Плохо это

или нет? Ташыбаев считает — плохо. Для всего, говорит, надо время находить.

— По-моему, это не беда, — ответил Донцов, — людей ты догнать хочешь, уверенность в себе обрести. А догонишь, тогда и на агрономию и на английский времени хватит.

— Может, и так...

До Ташыбаева донеслись обрывки тихого разговора, он повернул голову, улыбнулся друзьям и снова погрузился в кроссворд, который решал вместе с боцманом.

Собственно, решал кроссворд Ташыбаев один, а боцман, попыхивая трубкой, только восхищался той быстротой, с какой артиллерист находил трудные слова. Сам Головенченко любил думать спокойно, так, чтобы мысли текли, как широкая река, а не прыгали, как воробьи с куста на куст. Ему и сейчас было приятней, следя за Ташыбаевым, думать о судьбе этого живого лобознательного паренька, который недавно еще был пастухом, а когда-нибудь, наверное, станет офицером, чем ломать голову над тем, какое произведение русского классика надо написать четырьмя буквами по вертикали, а имя какого римского императора — тремя по горизонтали.

Петров, прижимая к себе скрипку правой рукой и размахивая левой, о чем-то перешептывался с Плакушей. Неподалеку от них Салиев беседовал со Стебелевым.

— Как троечником перестанете быть, так капитан-лейтенант Махотин будет ходатайствовать, чтобы к нам вас перевели. Он обещал, а слово у него, сами знаете, твердое.

— Да я и так стараюсь...

Тишина плыла над океаном. «Державный» замедлил ход. Гул машин постепенно утих. Казалось, корабль прекратил движение.

Вдали на берегу высилась огромная сопка, последние лучи солнца золотили ее пологую вершину; распластав крылья, парил над ней белохвостый орлан. Гаранин поднес к глазам бинокль. И перед ним возникли изрытые воронками склоны сопки, полоса выжженного кустарника, груды камней. Лейтенант передал бинокль Озерову.

В эту минуту из прикрепленного к фок-мачте громкоговорителя вдруг необычно торжественно зазвучал голос Парамонова:

— Товарищи моряки! Сопка Безымянная!

Озеров медленно снимает фуражку, и вслед за ним все обнажают головы. Издали доносится глухой шум прибоя.

— Мы проходим те места, где родилась боевая слава «Державного», — гремит голос в громкоговорителе.

На тысячи миль окрест лежит океан. Налево — сиреневая дымка по черте горизонта, направо — багровое солнце в кружеве морской пены, расцвеченной фантастической пестротой красок, позади — зеленый, словно на блюде поднявшийся над водой остров. Но только вперед, на каменистую сопку, устремлены все взгляды. Петров тихо достает из футляра скрипку, Гаранин альбом и карандаш.

Виденное одними, знакомое другим по рассказам друзей событие оживает в памяти моряков.

...Осеннее хмурое утро. Пожары на берегу. От разрывов снарядов дрожит, катится волнами воздух. «Державный» из всех орудий бьет по сопке Безымянной. Враже-

ские батареи с берега отвечают ему. Огонь корабля моток. Замолкают одна за другой пушки неприятеля. На солке дымится сухая осенняя трава. «Державный» высаживает десант. Шлюпки приближаются к линии прибоа. Но в эту минуту на палубе «Державного» разрывается снаряд. Падают раненый комендор Петр Чайка.

Снова на мгновение замолкает голос замполита, читающего в микрофон страницу исторического журнала корабля.

...Молча смотрят на берег моряки. Застыли на своих постах вахтенные. Высотин и Кипарисов стоят рядом, плечом к плечу, на ходовом мостике. Только Петров задумчиво водит смычком по струнам.

...Не мог Петр Чайка покинуть боевого поста. Вспыхнули и загорелись лежащие у орудия заряды. Они могли немедленно взорваться. Раненый комендор стал их выбрасывать за борт. Когда остался последний заряд, силы уже совсем покидали моряка. Он пополз по палубе. Дымилась и тлела на нем одежда. Он думал об одном: как бы спасти родной корабль. Вот уже борт, срубленные при высадке десанта леера. Вдали — шлюпки, с которых соскакивали в воду бойцы. Петр Чайка рванулся из последних сил. Горящий заряд полетел за борт.

— Добрый был моряк Петр Чайка, — задумчиво произносит боцман.

Петров продолжает играть. Песня о подвиге Чайки — самая любимая из всех созданных им. И как обидно, что не нашлось на корабле поэта, который написал бы на нее слова.

«Фельдшер пообещал, да подвел, — видно, ничего не вышло», — думает Петров.

Волны лижут подножье сопки. Вечерние тени ложатся на океан.

Тихо слушают моряки знакомую им мелодию.

— Хорошо, за душу берет, — говорит Головенченко.

Ташыбаев молча сжимает руку боцмана. Салеев задумчиво глядит вдаль.

Но Петров недоволен собой. Хочется сейчас ему играть так, чтобы молчать нельзя было, чтобы знал он, что все поняли то, что он хотел сказать.

— «Далекий край, суровый край — родная сторона...» — вдруг негромко пропел Плакуша, прислушиваясь к мелодии, и один-другой раз шопотом повторил родившуюся строку.

— «Бьет в скалы океанская холодная волна», — неожиданно подхватил Донцов. — «О скалы бьет...» — Донцов запнулся.

— «О скалы бьет, сама поет», — взволнованно подсказал Ташыбаев.

Боцман опустил голову. Может быть, больше, чем всех, трогает его песня — земляком и другом был для него Петр Чайка. Сколько боев вместе прошли! И каждый раз после боя боцман, раскуривая трубку, говорил: «До чего ж життя все-таки гарне», а Чайка неизменно отвечал: «Век бы жил, никогда не умирал...»

— Ну же, ну... — тихо говорит Озеров.

— Нет, песня еще не написана, — со вздохом отвечает Плакуша.

Но Петров упрямо продолжает играть. И наконец сам поет вполголоса:

Здесь берег русских храбрецов,  
Здесь море русских моряков.

И снова молчание. И снова только гуд океана и мелодия скрипки.

Перед глазами Головенченко встает Петр Чайка с задумчивыми карими глазами и застенчивой улыбкой...

— Эх, дружэ ты мой, дружэ! — шепчет боцман. А Донцов подходит к Петрову и медленно произносит:

Они прославили в бою  
Навеки Родину свою.

Озеров, вытащив из кармана блокнот, записывает слова песни. Гаранин рисует скрипача с гордо поднятой головой.

Высоко в небе клубятся облака, громоздятся друг на друга, каждое мгновение меняя очертания. Вершины их, еще озаренные закатом, светятся, как раскаленный металл, отбрасывая вокруг огненные сполохи. На палубу «Державного» легли прохладные синие тени; тонко, как слюда, блестит лужица воды, отражая и клубы облаков, и зеленое мерцание одинокой вечерней звезды, и темные фигуры людей.

На ходовом мостике тоже слушают скрипку, тоже ждут рождения каждого нового слова. И Высотин старается представить себе Чайку таким, каким он был в жизни, каким он знает Чайку по рассказам, но перед его взглядом проходят другие лица — лица героев-сталинградцев, знакомых ему, и среди них он видит Петра Субботина. Появляется и сразу же исчезает мысль об Анне. «Навеки Родину свою», — повторяет он про себя донесшиеся до него слова и поворачивается к подошедшему Парамонову. «И ему есть кого вспомнить», — думает Высотин и говорит, сердцем понимая, что наступила минута, когда не надо бояться больших, красивых слов.

— Вот так боевая слава обретает крылья.

— На этих крыльях нам лететь, — поняв своего командира, отвечает Парамонов.

...героев помня в наши дни,  
Таковыми будем, как они... —

доносятся слова.

...Потухли на небе последние блики вечерней зари. «Державный» ускорил ход, и сопка Безымянная скрылась вдали. Опустел полубак. А песня, кажется, еще звучит в воздухе. Звучит в гуле корабельных машин, в работе океанских волн, катящихся в безбрежный простор.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Евтерев собрался в командировку. Утром ему в интендантство позвонил Звенигоров и сказал: «В колхозы направляются политработники с лекциями и докладами о предстоящем Дне Военно-Морского Флота. Поезжайте и вы, Михаил Сергеевич, с ними. Своими глазами посмотрите, как идут дела на селе, выясните, чем мы можем помочь!..»

Предложение начальника политотдела пришлось Евтереву по душе. В последнее время наладилась крепкая дружеская связь между моряками и колхозниками. Многие флотские специалисты, чьи родные места находились за тридевять земель, подучив внеочередные десятиднев-

ные отпуска, теперь по собственному желанию проводили их в селах неподалеку от Белых Скал, помогая строителям колхозных электростанций, работая на полях трактористами и комбайнерами. Надо было потолковать с местным руководством и о тех военнослужащих, которые после демобилизации решили остаться на жительство в прибрежном крае.

Побывав на складах, холодильниках, в мастерских, Евтерев завернул на машине домой. Еще на пороге комнаты он весело загромыхал басом:

— А я тебе, Любаша, подарок привез. — Он поцеловал жену и положил на стол несколько книг. — Вот по кулинарии, вот руководство по кройке и шитью... Ты их хотела иметь. А эти два тома — «Война и мир»! — Евтерев снял белый молескиновый китель и надел синий шевитовый.

— У нас, Михаил, скоро будет своя маленькая библиотека, — сказала Любаша, ставя книги в шкаф. — «Войну и мир» мы будем перечитывать вместе. Начнем сегодня же вечером, когда ты вернешься со службы. — Она захлопнула дверцы шкафа и обернулась к мужу: — Ты рано приехал обедать, жаркое еще не готово.

— Я как-то говорил тебе о командировке, Люба... Сейчас уезжаю, обедать мне некогда, хочу к вечеру добраться до места. — Евтерев пытливым взглядом жены и подумал: «Будет сцена».

Однако Любаша кивнула головой и только сказала с укором:

— Мог бы, Михаил, позвонить. Я бы коржей испекла в дорогу.

— Военные люди — что птицы перелетные, корм всегда найдут, — пошутил Евтерев, обрадованный покладистостью Любаши. — Не звонил потому, что заматался на службе... — Он взял стоящий у вешалки маленький чемодан, в котором по заведенному издавна обычаю всегда были уложены чистое полотенце, зубная щетка, мыло, бритвенный прибор и другие дорожные вещи. — Ну вот, я готов... Проводи меня, Люба.

Они вышли на крыльцо.

От полуночного солнца все блестело и дышало зноем... На заросшей с обеих сторон кустиками желтой ромашки садовой дорожке, за которой виднелась «Победа», на все лады верещали кузнечики. От жары поникли цветы табака в клумбе под окном.

— Надолго? — спросила Любаша. Она провела ладонью по горячим от солнца перилам крыльца, посмотрела, как вьется, звеня крыльями, оса над щелочкой в стене. «Уезжает, и нет ему дела, что я осталась одна».

— Дня на три, четыре. Ты не скучай, Люба...

— Постараюсь...

— Я вижу, что ты все же недовольна?

— Нет, ничего...

Любаша взяла мужа под руку и прошла с ним до калитки. Она уже давно решила держать себя в руках. «Не может же Михаил из-за меня откладывать служебные дела?» А все-таки на сердце накатывалась непонятная грусть.

— Смотри, Михаил, будь осторожней в дороге... — Она подставила щеку для поцелуя и, помахав рукой, порывисто повернулась и убежала в дом.

«Когда же моя жена повзрослеет?» — подумал Евтерев, садясь в машину.

После отъезда мужа Любаша не знала, чем заняться. Обед в одиночестве показался ей невкусным, руководство по кройке и шитью — книгой скучной. Весь вечер Любаша писала письма матери, брату, школьным подругам, учившимся теперь в различных московских институтах. По письмам выходило, что живет она хорошо, с любящим и любимым мужем, в интересном и даже романтическом краю, где ее друзьям, возможно, никогда не придется побывать. Письма были написаны так, чтобы подруги позавидовали ей, но чем дольше думала Любаша о своих родных и знакомых, тем больше завидовала им сама. «В чем же счастье? — думала она, подперев кулачком подбородок. — Вот, кажется, и муж хороший, и всем я обеспечена, и забот мало, а все чего-то мне недостает... И не знаю, ради чего живу... Ох, какая я несчастная». Любаша расплакалась и рано легла спать. Она проснулась на рассвете с той же мыслью о бесцельности своего существования, попробовала снова заснуть, но не смогла; решила понежиться в постели, как любила это делать когда-то в воскресные дни, но лежать не захотелось. Тогда она лениво встала, накинув халатик, включила приемник и тотчас же выключила его — «наверное, еще соседи спят»; затем подошла к книжной полке, окинула ее взглядом и подумала, что ни одну из книг, которые есть в доме, она сегодня не хочет читать; попробовала помечтать о приезде Михаила, но и это занятие показалось ей неинтересным.

Любаша распахнула окно и присела на подоконник. У самого окна рос пышный куст бузины. Круглые и блестящие, как стеклянные горошинки, сверкали на листьях капли росы; песчаные дорожки потемнели от утренней влаги; таил на глазах почти прозрачный пар, окутывавший тайгу; солнечный свет, сначала робко, будто наощупь, пробиравшийся среди кустов и деревьев сада, постепенно превратился в золотой поток, который залил сад, дом, комнату. Ветер с моря приятно охлаждал тело, и Любашей овладело нетерпеливое желание двигаться, что-то делать. Она соскочила с подоконника, взяла полотенце и пошла в ванную. В коридоре увидела Полину Васильевну. Та, проверяя метки на белье, отложенном для стирки, быстро укладывала его в корзину.

— Думала, что вы еще спите, — поздоровавшись, сказала Любаша и, заметив недоумение в глазах Полины, добавила: — Ведь я, Полина Васильевна, на свой аршин все примеряю, сама-то я соня...

— Раз вы так рано встали, заходите ко мне, вместе позавтракаем, — предложила Полина.

— Спасибо, я с удовольствием. Без Михаила, знаете, у меня и аппетита нет...

— У нас есть с кого брать пример. — Полина засмеялась. — Моим хлопцам только знай подавай. В детский сад идут, а дома непременно чего-нибудь да перекусят. Ну, я вас жду...

— Хорошо... Я быстренько...

Когда Любаша, помывшись и переодевшись в легкое сиреневое платье, вошла к Золотовым, там уже закончилась утренняя уборка квартиры. Свежевымытый пол застлан дорожками, постели убраны, всюду стерта пыль. Полина поправляла в вазе, стоящей на верхней крышке пианино, букет цветов, только что срезанных в саду. Она расстилала клеенку поверх скатерти на столе. Ваня и Витя складывали из кубиков домик на подоконнике у настезь раскрытого окна.



— Будем завтракать, — сказала Полина, обращаясь к дочери.

Оля хлопнула в ладоши и громко скомандовала братьям:

— А ну-ка, мальчишки, помогайте накрывать стол!

Мальчишки, подталкивая друг друга, бросились к буфету. Оля, быстро расставив тарелки, чашки, сахарницу, масленку, принялась нарезать хлеб, а Ваня и Витя, пыхтя и становясь на цыпочки, клали на стол вилки, ножи, ложки. Полина вышла на кухню и тотчас же вернулась с блюдом дымящихся сосисок, обложенных картофельным пюре. Оля принесла молоко в кувшине. Малыши, пододвигнув каждый свой стул, чинно уселись за столом.

— Как у вас так ловко получается, — сказала Любаша, садясь рядом с Полиной. — Видимо, вы очень устаёте?

— Да как вам сказать... — Полина налила ребятам в стаканы молоко, положила сосиски и пюре в тарелку Любаше. — Конечно, без труда ничего не дается, Люба... Некоторые знакомые говорят, что я слишком «перегружена», что, видите ли, невозможно сочетать работу на производстве, общественную деятельность и обязанности домохозяйки... Может быть, по-своему они и правы. Но я управляюсь. Если меня спрашивают: «Как?», я отвечаю: «Нужно уметь организовать свой быт». Когда Оля была маленькая, мне много помогал муж, но и самой приходилось недосыпать. Сейчас помощь Терешки уже не нужна. Олю я с детства приучаю к труду. Девочка должна уметь все делать сама, еще неизвестно, как сложится у нее жизнь. Каждый в нашей семье, даже самый маленький, знает свои обязанности: утром, когда просыпается, и вечером, когда ложится спать. Трудно на первых порах было приучить ребят, а потом все наладилось... Днем я на верфи, Оля в школу уходит, дети в садике, а вечером мы все дома...

— А общественная работа, ведь и она отнимает время?..

— Не так уж много. Все знают, что у меня большая семья, что я очень занята, и не поручают дела сверх моих сил. Собрания, на которых присутствовать необходимо, бывают два-три раза в месяц. Тогда с ребятами остается Оля или муж. Жены офицеров понимают, что нелегко к ним наведываться, и сами приходят ко мне. Нет, общественная работа никогда не была в тягость. Наоборот, чем больше с людьми бываешь, тем интересней жить. — Полина помолчала и добавила: — Только вы не думайте, что я пренебрегаю своим здоровьем. Я вовсе не хочу выглядеть старухой в свои тридцать четыре года... И никакой жертвенности не признаю... Белье отдаю стирать в прачечную, муж обедает на корабле, я на верфи вместе с Олей, а завтрак и ужин приготовить не так сложно. А когда мне очень уж трудно, вот как сейчас, — Полина указала глазами на свой пополневший живот, — беру домработницу... Теперь на днях вот приглашу... — Она погрозила пальцем сыну, болтавшему ногами, и, обращаясь к Любаше, закончила: — Забыла, что вы моя гостья. Хотите еще сосисок?

Ребята за обе щеки уплетали хлеб с маслом, запивая молоком. Оля, как и мать, быстро ела горячие сосиски. У ее ног сидел, щури зеленые глаза, кот, ожидавший подачки. Глядя на всех, и Любаша поела с особенным аппетитом.

Первой покончила с завтраком Оля. Она вышла в другую комнату и вернулась с большой нотной папкой.

Полина поправила бант в волосах у дочери, поцеловала ее в щеку.

— В каникулы каждый день уроки музыки берет, — пояснила Полина Любаше и, повернувшись снова к дочери, сказала:

— Возвращайся во-время. Можешь позвать подруг к себе... Придут рабочие из прачечной, отдашь им белье... Сегодня вечером погуляем у моря... — Она еще раз окинула взглядом дочь с ног до головы — все ли из девочке в порядке. — Ну, иди, иди, моя красавица! — Полина гордо улыбнулась.

Оля вышла. Мальчишки, захватив с собой деревянные сабли и «пугачи», выбежали во двор.

— Растут дети быстро, как грибы. Скоро моя Оля совсем невестой станет... — задумчиво сказала Полина и, поднявшись из-за стола, стала собирать посуду.

— Не надо, — сказала Любаша. — Я помою, мне ведь делать все равно нечего.

— От помощи не откажусь, — согласилась Полина. Она подошла к зеркалу, поправила волосы, набросила на плечи цветную косынку. — Как, я еще не плохо выгляжу? — спросила она.

— Замечательно! — воскликнула Любаша и подумала: «Мне бы быть такой в твои годы».

Полина взяла с письменного стола портфель и, окликнув сыновей, которым пора уже было в детский сад, вместе с Любашей вышла из комнаты.

## 2

Весь день Любаша хлопотала по хозяйству. Она убрала в квартире, перемыла посуду, свою и Полины Васильевны, вытрясла все половники и коврики, вывесила на дворе шинель и шапку мужа, свою беличью шубку, муфту и меховые ботинки-«венгерки», заглянула в курятник — сидит ли в гнезде наседка, прополоча цветы в клумбе. Потом она помылась, переделалась и уже хотела заняться рукодельем, но, увидев на столе пачку приготовленных к отправке писем, решила: «Сбегаю на почту».

С почты возвращаться домой ей уже не захотелось. В золотистом сиянии стояли березы, липы и кедры, росшие вдоль тротуаров. В голубом воздухе отчетливо виднелись темные вершины далеких гор, кровли домов, белое здание метеорологической станции, ярко освещенное солнцем на сопке; над ней плыли воздушные шары, пуценные для определения силы и направления ветра. Пахло разогретым асфальтом, цветами и морем...

Любаша решила побродить по городу. На сердце у нее появилось ощущение той девичьей свободы, светлой легкости и безмятежности, когда хочется смеяться, петь, веселиться, отвечать на улыбку улыбкой. Любаша прошла по бульвару, полюбовалась фонтаном и клумбами, съела мороженое и задумчиво повернула домой.

На углу Тигровой и Морского проспекта она остановилась. Здесь строился большой жилой дом. Каменщики, среди которых были и женщины, стояли на помосте на высоте второго этажа и укладывали кирпичи. Работали они молча и сосредоточенно; лица у большинства из них были скорей даже хмурыми, но так ловко двигались их

руки, так быстро, прямо на глазах, росла стена, так весело перестукивали молотки, шуршали движущиеся холщовые ленты транспортеров, на которых серыми островками лежали кучки цемента и песка, что Любаша залюбовалась, ощутив во всем этом захватывающий ритм спорого, увлекательного труда.

— Ну-ка, подсоби, молодка! — обратился к ней пожилой рабочий, указывая глазами на большой мешок, крепко затянутый конец которого он держал обеими руками. Любаша взялась за лежавшие на земле края мешка.

— Сильна! — одобрительно сказал рабочий, когда мешок улегся на его плечах.

Любаша обрадовалась похвале. Ей захотелось сейчас же сменить свое нарядное платье на спецовку. «То-то ужаснулся бы Михаил, если бы я поступила на такую работу...» — подумала она.

На противоположной стороне улицы показался Гаранин. Увидев Любашу, он приветливо замахал рукой.

«Опять этот лейтенант... будто я на свидание к нему вышла. — Любаша почувствовала себя растерянной. — Но ведь ничего плохого нет в том, что мы встретились?!» — Она еще не успела разобраться в своих мыслях, как Гаранин подошел к ней.

Он тоже не мог скрыть своего волнения. Как ни подавлял в себе Гаранин растущее чувство к Любаше, оно постоянно давало о себе знать. В свободные часы на корабле, садясь за мольберт в каюте, чтобы писать «Девушку из столицы» — свою лучшую картину о новостройках в Белых Скалах, он мысленно представлял лицо Любашы, ее глаза, цвет ее волос, ее улыбку. Она постоянно была с ним. И теперь при виде Любашы, подавшись порыву радости от этой неожиданной встречи, Гаранин вдруг понял, что не может не поговорить с ней, что это выше его сил и что все его благие намерения забыть эту женщину рухнули, как карточный домик. «Значит, судьба...» — подумал он.

— Рад, очень рад видеть вас, Любовь Сергеевна! Прогулка в такой вечер — одно удовольствие. Я сам вот не утерпел, выбрался на часок с корабля. — Он пожал ей руку, задержав чуть дольше обычного в своей руке.

— Живу по-старому... А вы что же как в воду канули, даже на репетициях не бываете?... — Любаша говорила первые пришедшие ей на ум слова, ощущая все нарастающее смущение. «Какое мне, однако, дело, где он бывает, что делает? Ах, не так я держу себя с ним!...»

— Летом мы, моряки, редкие гости на берегу... Служба, плавание, учеба... На репетициях бывать некогда, вот разве осенью... А кто теперь исполняет роль Гарри Смита?

— Какой-то старшина, я, право, его фамилию запомнила...

Гаранин не отрывал глаз от Любашы. Он, как художник, остро подмечал мельчайшие перемены, происшедшие в ней. «Она не так бледна, как раньше; пополнила, загорела, и это очень к ней идет. И руки у нее не такие нежные, а на пальцах мозоли, видно от стирки, — думал он, запоминая, как у Любашы уложены волосы, как в раздумье она хмурит брови, а когда улыбается, то появляется у нее едва заметная морщинка в уголках губ. Скорбная морщинка! «Наверное, не все у нее в жизни гладко?»

Любаша, заметив чересчур пристальный взгляд Гаранина, густо покраснела. Окончательно смутившись, она отвернулась и воскликнула:

— Поглядите, Сергей Никитич, какая чудесная картина!

Они стояли в густой тени, падающей от кедра, а все вокруг за теневой чертой играло светом. Горели, словно раскаленные добела, окна гостиницы, яркие блики вспыхивали на кузовах проносящихся мимо машин, а серый асфальт, политый водой, нежно голубел, и в нем отражалось несметное число солнц. Блеск и свет улицы сливались с блеском и светом видневшегося вдали океана, и казалось, что оттуда вместе с легким бризом несетя на город ослепляющий поток. Гаранин молча полюбовался пейзажем и тихо, продолжая смотреть на гавань, сказал:

— Вот и вы, Любовь Сергеевна, начинаете замечать красоту Белых Скал.

— Да, теперь я уже совсем здесь обжилась. — Любаша медленно пошла вдоль тротуара.

— И все вокруг становится для вас родным — и море, и тайга, и люди. Не правда ли? — попытался Гаранин продолжить ее мысль.

— Родным? Не знаю. Во всяком случае, не все. Слишком мало я видела, — сухо зато ответила Любаша. У нее появилось такое ощущение, будто Гаранин хочет как-то связать ее чувства со своими, подчинив ее мысли, ее настроение своим.

— Вот мы встретились здесь с вами на улице так же случайно и просто, как встречались вы со своими друзьями, скажем, у Большого театра, — продолжал говорить, шагая рядом с ней, Гаранин. — Вы, наверно, переписываетесь с ними?

— Да, конечно! — «К чему ему это знать? — подумала она. — Но ведь это естественно! Наверное, хочет спросить о том, что делается сейчас в Москве», — и сказала: — Они сообщают мне обо всем, даже вырезки из «Вечорки» посылают.

Однако Гаранин не задал вопроса, которого она ждала.

— Представьте себе, Любовь Сергеевна, что вы бы уехали туда, а я остался здесь... — Гаранин замолчал. Ему хотелось перейти к задуманному разговору. Нет, не о чувствах своих к ней, конечно, стал бы он говорить. Но о чем-нибудь таком, что волновало бы их обоих и потому сближало друг с другом. — Что написали бы вы мне, Любовь Сергеевна, оттуда в Белые Скалы, в нашу далекую гавань?

— Да стоит ли говорить о том, что вряд ли случится. — Она зашпала быстрее.

— Вы куда-нибудь торопитесь?

— Домой.

— Вас, наверно, ждут? — спросил он грустно.

— Нет, никто не ждет...

— Тогда давайте пройдемся по парку, поиграем в теннис или волейбол. — Он почувствовал, что душевный разговор сегодня не состоится. — Если вы не заняты.

— У каждого есть дела, большие или малые — все равно. У меня, например, не окончено рукоделье...

— Что вы, в такую погоду сидеть за пальцами? Ведь вы, Любовь Сергеевна, такая веселая, жизнерадостная.

Они, как и две недели назад, шли по Морскому проспекту, и Гаранин подвел Любашу к той самой скамейке, на которой они сидели тогда.

Любаша отрицательно покачала головой. «Зачем он говорит мне комплименты?! И почему не хочет понять, что пора уже нам расстаться?» Глаза ее неожиданно лукаво блеснули. «Пойду на пляж, там встречу Полину Васильевну. Вместе с ней и домой вернусь...»

— Что же, Сергей Никитич, вы меня уговорили. Только, пожалуй, лучше отправимся к морю смотреть закат...

Она прошла мимо скамьи и свернула на тропинку, ведущую к бухте. Через несколько шагов показались полосы гладкой воды, они словно вытягивались широкими лентами прямо из скал. Вокруг стояла такая тишина, что слышно было, как прибрежный песок, чавкая, всасывал набегавшую волну.

— Пяльцы — пяльцами, — сказал осторожно Гаранин, — только это ли настоящая причина вашего «домоседства», если можно так выразиться?

— Вы мне кажетесь другом... — ответила вдруг сердечно Любаша. Ей захотелось как-то оправдаться перед Гариным. — Я буду откровенна. — Она замолчала, поправляя волосы. — Я могла бы открыть вам и настоящую причину...

— Я догадываюсь, — тихо перебил ее Гаранин. — Муж?

Любаша опустила глаза: «Сама начала разговор, и самой же от него стыдно».

— Ревность — совсем не признак большой, сильной любви... — донеслись до нее слова Гариного.

Любашу неприятно задел его самонадеянный тон. «Говорить то, что сказал он, имею право только я». Она представила себе Михаила, который вот сейчас где-то хлопочет, волнуется, решая служебные дела; он, наверное, стремится к ней, думает о ней, а она так легкомысленно дала повод осуждать его!

— Я думаю, ревность — это как накипь, как пена, которая скоро сойдет, — сказала взволнованно Любаша. — Смотрите, вот так же, как это, — она показала на залив. С океана шла волна. По спокойной прибрежной воде пробегали гребешки белой пены. — Видите?

Гаранин пожал плечами.

— Я ухаживала за Михаилом, когда он лежал раненый в госпитале. Он стал для меня большим и настоящим другом, — сказала Любаша. — Он и сейчас такой. Его нужно только понять.

— В людях должно быть много общего, чтобы они понимали друг друга.

Любаше стало обидно за мужа.

— Не будем больше об этом говорить.

Она не знала, чего ждала от разговора с Гариным, но теперь была разочарована. «Почему он старается всячески принизить Михаила в моих глазах?» Однако это раздражение вскоре улеглось. Гаранин молча шел рядом, ласково смотрел на нее. «Он, конечно, интересный человек и, кажется, влюблен в меня. Ну и пусть, мне какое дело».

Дорожка петляла, огибая скалы. Прибрежный песок был спрессован и испещрен зигзагообразными полосами, волны выдавили в нем множество углублений, и в этих ямочках, наполненных водой, ползали крабы, блестели медузы, шевелились, как ливые, яркозеленые водоросли.

— Так о чем мы теперь поведем беседу? — покорно спросил Гаранин.

«В самом деле, о чем я с ним дальше буду говорить? Утром было скучно, а сейчас еще скучнее. Разве это ему сказать?!» — мелькнула у Любашы насмешливая мысль. Однако, подчиняясь тону его взволнованного голоса, она проговорила:

— Для вас, наверное, все так ясно в жизни, так просто вы живете, что могли бы и мне что-нибудь хорошее посоветовать.

— Что ж, совет дать нетрудно. Прежде всего — самостоятельно выбирайте в жизни дорогу и смело идите по ней...

Любаша не ответила. «Это можно понимать по-разному», — подумала она.

Вдоль берега шла шляпка. Гребец наваливался на весла изо всех сил, однако шляпка плохо его слушалась.

— Плакуша тренируется! — Гаранин засмеялся.

Любаша заметила Полину, окруженную ребятами.

— До свиданья, — сказала она Гариному. — Вон Золотова на пляже, я к ней!

— Мы увидимся? — Он почувствовал, что больше удерживать ее нельзя.

— Не знаю.

Гаранин с сожалением посмотрел вслед Любаше. Потом помахал фуражкой фельдшеру. Когда шляпка подошла к берегу, Гаранин вскочил на ее корму.

— Вы были опять с женой Витерева? — спросил Плакуша.

— Вы думаете, это очень плохо, Валерочка?

Плакуша бросил весла и сказал, решительно взглянув на Гариного:

— Если любите так, что без нее и минуты жить не можете, тогда я вам не судья; если не так, то это очень скверно.

Не ожидая ответа, он снова принялся прести, а Гаранин задумчиво следил за тем, как вспыхивали на солнце вырывающиеся из-под весел брызги воды. На душе у него было смутно. Он боялся отдать себе отчет в собственных поступках, боялся открытыми глазами посмотреть в будущее.

Рассказывая со всеми подробностями вернувшемуся до срока из командировки мужу о трех днях, которые она провела без него, Любаша умолчала о встрече с Гариным. Она понимала, что поступает нехорошо, но успокаивала себя тем, что не хочет напрасно волновать Михаила.

«Когда-нибудь я все ему расскажу, а сейчас он, пожалуй, не поймет меня».

### 3

Теоретическая конференция проходила в Большом зале Дома офицеров. На сцене, за столом, покрытым красной скатертью, сидели Серов и Звенигоров. Золотов стоял у кафедры. Он столько раз перечитывал свой доклад, что знал текст почти наизусть, и все же не мог не волноваться и оттого, что он все время сдерживал волнение, казался даже чересчур спокойным.

Да, как он и предвидел, у Светова, сидевшего в первом ряду, прямо напротив кафедры, было равнодушное, скучающее лицо. Золотов ни разу не увидел его глаз. Командир «Дерзновенного» опускал их, то ли любясь

блестящими пуговицами парадной тужурки, то ли рассматривая острые складки на безукоризненно выглаженных брюках.

Зато Высотин дружески улыбался ему. На лицах большинства офицеров застыло напряженное внимание.

То, что доклад на большую теоретическую тему делал не командующий, не начальник штаба, не начальник полугодела, а рядовой офицер штаба, к тому же никогда не проявлявший ни особых ораторских талантов, ни любви к отвлеченным спорам, несколько удивляло присутствующих.

Золотов медленно подошел к карте и поднял указку.

— Магнитогорск, Днепродзержинск...

Он перечислял одну за другой великие трудовые победы советских людей. Указка подымалась и опускалась. Золотов не торопился. Как художник, который кладет мазок за мазком, он время от времени задумывался, будто стараясь представить себе всю картину в целом.

— Восстановленный Орел, поднятый из развалин и попла Сталинград... мичуринские сады в Сибири... Новые гидростанции на реках...

Золотов немного отошел от карты и повернулся лицом к залу.

— Мир и коммунизм — на нашем знамени, — сказал он. — Коммунизм, к которому ведет нас партия и который строят миллионы... А теперь посмотрите, — он, вытянув руку, провел в воздухе указкой: — от Исландии до Австралии, от Японии до Англии жерлами орудий глядят на нас вражеские базы.

— Будет ли мир, которого хотим и за который боремся мы?... Будет ли война, которую хотят развязать империалисты?!

Золотов помолчал, налил из графина стакан воды и выпил.

— Мы — люди военные и не можем забывать, что существуем не для игры в солдатики или кораблики, а для того, чтобы хранить как зеницу ока священные границы нашей страны.

Строителей называют солдатами великой армии коммунизма, а мы с вами — строители Вооруженных Сил. Наша мощь, наша сила обуздывает врагов. Наша боеготовность срывает их преступные планы.

Строительство — труд. Учеба — труд. И война — труд! Рабочий — труженик и матрос — труженик.

Камень по камню возводится крепость нашей обороны. Пробит на учениях щит с первого залпа, сэкономили котельные машинисты тонну горючего, научил молодого матроса устав «назубок» — растет несокрушимая стена... И должен командир следить за тем, чтобы ни на миг не прекращалась эта созидательная работа, чтобы неразрывным цементом дисциплины и воинской дружбы был скреплен кирпич с кирпичом.

Золотов говорил о моральном облике советского офицера, квалифицированного мастера, тонкого знатока военной профессии и высоконейшего, преданного Родине, волевого, непреклонного начальника, понимающего каждое движение душ подчиненных ему людей и умело направляющего их. Он анализировал военный опыт офицеров и их воспитательную работу в мирные дни. Не пощадил Золотов и своего командирского прошлого.

— Думаю, — говорил он, — допускал и я ошибку, свойственную еще кой-кому из сидящих здесь в зале. Не

было у меня умения предвидеть, и не очень стремился я его приобрести. Казалось мне, предвидеть должны лишь большие начальники, руководители государственного масштаба, а с меня, мол, хватит выполнять указанное ими. Вот и просмотрел я рост своих людей. Стал топтаться на месте, а это не могло не сказаться на жизни всего корабельного коллектива.

— Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего не видеть, пока обстоятельства не уткнут нас носом в какое-нибудь бедствие, это еще не значит руководить, — так учил нас партия. — Чтобы руководить, надо предвидеть.

Золотов передохнул. Теперь все слушали его с напряженным вниманием.

— Я хочу привести вам рядовой, обыденный пример командирского предвидения, — сказал Золотов. — Сколько уж лет все мы выходим из Седых Бурунов в океан через Северный полюс. Кто не знает, что там фарватер шире и безопасней? И штурманы наши ориентируются только на него. А вот один новый в наших краях офицер, выходя в плаванье, заготовил два варианта прокладки. Стоило ли это делать? Оказывается, стоило! Не побоялся он, когда увидел, что фарватер Северного пролива занят рыболовецкими судами, пройти Южным.

«Зачем это он обо мне? — подумал Высотин, чувствуя, что краснеет. — Ведь я Терентию Ивановичу просто дружески рассказал, как мне было трудно». Высотин оглянулся по сторонам, но все офицеры смотрели на докладчика.

— Конечно, в данном конкретном случае, — продолжал Золотов, — можно было найти и другой принятый у нас выход. Переждать, скажем, пока освободится фарватер. Но представьте себе бой, когда дорога каждая минута времени, когда опростное значение имеет неожиданность. Вы понимаете, какую, может быть, решающую роль сыграло бы такое предвидение офицера.

Золотов привел и ошибку командира электромеханической боевой части эсминца «Звонкий», забывшего в дни ремонта о боевой учебе, и факты успешного воспитания отличных воинов офицерами, предвидевшими заранее всевозможные трудности и потому находившими правильные решения. Он подробно говорил о целенаправленности действий офицера как о важнейшем факторе воинского воспитания.

— На «Державном» служит капитан-лейтенант Махотин. Вы все, вероятно, его знаете. — Золотов перевернул страницу в своем конспекте, подумал немного и продолжал: — Помню, к нему прислали молодого матроса Салиева — человека любознательного, но технически мало подготовленного. Через некоторое время, причем очень короткое, время я как-то, побеседовав с Салиевым, обратил внимание на то, что матрос заметно вырос. В котельной чувствует себя как дома. Стал я наблюдать за тем, как воспитывает его Махотин, и вот что увидел: офицер привил ему любовь к тому, что любил сам. На занятиях Салиев — самый старательный слушатель, в свободные часы читает технические журналы, которые выписывает сам командир боевой части. В Доме флота лекция на научную тему — Махотин дает Салиеву билет, даже в кино его с собой на такие фильмы, как «Ижовский», брал. «Пусть, говорит, в популярной форме с законами аэродинамики познакомится». И это несмотря на то, что по характеру Махотин человек замкнутый и малообщительный. Ну вот, ко-

роче говоря, ныне Салиев, молодой колхозник из Узбекстана, — отличный специалист, лучший старшина котельных машинистов на «Державном». Это, я думаю, и командир корабля капитан третьего ранга Высотин подтвердит охотно.

Золотов сделал короткую паузу и перешел к последним страницам доклада.

Он поднял лежавшую перед ним книгу в сером коленчорovém переплете.

— В ней заключено все, — сказал он, — все основы военной службы. Ее мы должны читать и перечитывать. С ней должны сверять каждую мысль, каждый свой поступок. В ней — наша наука побеждать, в ней — народная забота о советском воине. Это — устав, товарищи, устав, обязывающий нас растить отличных воинов, все время идти вперед и вперед, совершенствуя боевое мастерство.

Золотов отложил устав и склонился над своими записками, отыскивал нужный ему листок и продолжал:

— Я недавно ознакомился с брошюрой некоего Коупа, она была выпущена за океаном как руководство для молодых офицеров. Послушайте, что там говорится о воинском долге. — Золотов усмехнулся и прочитал: — «Флот — это карьера! Служить на флоте выгоднее, чем в любом другом роде войск!» Вот их долларовая мораль. Их честь, их долг! Как же они мелки, как жалки перед нами! Что за нелепость и чужь — их грязный бизнес! И по праву, товарищи, гордиться мы тем, что наше счастье — в процветании Родины, честь — в чести ее непобедимого знамени.

Наш долг, товарищи, учить людей тому, что понадобится на войне. Пусть же сегодня каждый скажет о том, как выполняется на любом корабле, на любом боевом посту это первое веление воинского долга!

В перерыве вокруг Золотова собрались офицеры «Державного». Раньше они думали, что он не интересуется ничем, кроме уставов, корабельных расписаний и инструкций. А сегодня они слушали офицера с широким кругозором, ясно мыслящего, умеющего в малом видеть большое.

Золотов понимал, что им гордятся, гордятся, как близким, родным человеком, судьба которого неотделима от судьбы корабельной семьи, где бы он ни находился. И особенно приятно было ему видеть среди других открытое, улыбающееся лицо Высотина.

В курительную комнату вошел и Звенигоров.

— Обстоятельный доклад сделал Терентий Иванович, — сказал он громко, так, что слышали все вокруг. — Очень вами доволен. Хотелось бы, чтобы и другие офицеры выступили не хуже.

Перерыв окончился. Реплика Звенигорова подстегнула Светова. Он долго перед этим колебался, выступить или не выступить. Как все излишне самолюбивые люди, в период, который он склонен был считать «полосой неудач» (даже Золотов ни одного положительного примера с «Державного» не привел), Светов боялся, что его не поймут достаточно глубоко, не придадут его словам должного значения, может быть даже придерутся к несущественным мелочам. Между тем статья на тему, близкую к вопросам сегодняшнего совещания, была им уже написана и отослана две недели назад в Москву, и, конечно, гораздо лучше будет, если офицеры прочтут ее напечатанной в авторитетном военном журнале. «Всем будет ясно, что это

не какая-нибудь рядовая статья, а работа общесоюзного значения, — думал, нервничая, Светов. — Однако сколько еще пройдет времени, пока напечатают, пока придет журнал? Два-три месяца, может быть и больше?» А Светову очень хотелось именно сейчас быть в центре внимания, заставить снова говорить о себе как о талантливом и многообещающем командире.

Реплика Звенигорова заставила Светова покончить с колебаниями. Сегодня начальник политотдела ждет смелого, самостоятельного выступления офицеров о самых насущных, конкретных вопросах воинского воспитания. «Я должен выступить. Да, должен сказать, и не вообще обо всем, как Золотов, а о решающем звене боевой подготовки».

Светов любил говорить без конспекта. Речь должна быть свободной и непринужденной, производить впечатление экспромта. Он, больше не слушая выступающих, компоновал в уме наиболее важные и существенные места своей работы. Итак, он начнет с неожиданного образного сравнения, которое сразу же привлечет к себе внимание: «Есть огромные электростанции, которыми управляет один человек. Стоит ему включить рубильник, и заворачиваются колеса гигантских турбин, помчится ток по проводам, и разумные машины и каждый маховичок, шатун, шестерня в этих машинах с идеальной точностью будут выполнять ту работу, которая им предначертана заранее. Точно так же должно быть и на корабле. Приказ командира — включенный рубильник, команда корабля — идеальная машина. В ответственный час боя каждый матрос должен помнить только свои непосредственные обязанности и выполнять их с автоматической четкостью. К этому надо готовить моряков в мирное время. Вот в чем смысл боевой подготовки, а мы об этом, к сожалению, часто забываем...»

...Светов поднялся на трибуну и, чеканя слова, высказал свой главный тезис. Контр-адмирал повернулся к трибуне, лицо его выражало удивление, Звенигоров, выводя в блокноте огромный вопросительный знак, так назвал на карандаш, что сломался тонкий грифель, Золотов недоуменно развел руками, а Высотин вскопчил, и свободно качающееся сиденье его кресла ударило о спинку.

Светов обвел глазами зал и почувствовал что-то неладное, будто он сразу стал чужим всей этой массе офицеров — своих боевых друзей.

На мигновение это испугало его. Но он сразу же взял себя в руки. Упрямо и настойчиво стал приводить примеры из своей статьи, по его мнению бесспорно свидетельствующие в пользу высказанной им мысли. И хотя теперь он уже чувствовал, что каждое слово его вызывает протест в зале, не мог остановиться, не мог отказаться от надежды убедить людей в том, в чем он так легко за последний год убедил себя.

Он сошел с трибуны только тогда, когда Серов напомнил ему, что время его давно истекло.

Не успел Светов сесть и вытереть платком мокрый лоб, как к трибуне двинулся Высотин. Звенигоров одобрительно кивнул ему головой.

Высотин сдерживал себя. Он знал, что должен начать очень спокойно, чтобы доводы его были вескими и неопровержимыми.

— Я думаю, когда говоришь об электростанции, надо помнить о тех, кто ее строил, о тех, кто обеспечивает

безукоризненную работу ее машин, о тех, чья мысль и воля являются подлинным источником тока, бегущего по проводам. Включить рубильник — невелика штука для директора электростанции. А вот объединить усилия десятков и сотен людей... Да, да, товарищ Светов, не автоматов, а людей, очень разных по своим характерам и наклонностям, вдумчивых конструкторов и точных механиков, рабочих, подсказывающих задачи академиям, и академиков, открывающих рабочим новые пути использования энергии, объединить их усилия — в этом настоящий долг руководителя! Невысока была, видно, кочка, с высоты которой смотрел на свою электростанцию товарищ Светов, если этого главного он не увидел.

— Оставим, однако, электростанцию, — продолжал Высотин. — В речи Светова это было не более чем бьющее на эффект сравнение. Вспомним один из примеров, которые он здесь приводил. Катер, которым командовал на Балтике Светов, выиграл бой один, сражаясь с шестью немецкими. Что же обеспечило победу? По мнению командира «Дерзновенного», только его собственная смелость, находчивость, талантливость да автоматическая точность, с какой выполнялись его приказания. Ерунда! Чушь! Я хорошо знаю этот бой. Видели ли вы сломанный автомат, который продолжал бы работать? Видели ли турбину, которая, скажем, стала бы стрелять, как орудие? Не видели, конечно! А на катере у Светова наводчик, у которого были прострелены обе ноги, не уходил с поста до конца боя, рулевой оказался превосходным пулеметчиком, раненый боцман, истекая кровью, в ледяной воде исправил перебитый осколком штуртрос, когда катер уже потерял управление. Кстати, он сделал это, товарищ Светов, еще до того, как вы подумали отдать приказание. Да мало ли было вообще таких случаев, когда рядовой матрос, спасая корабль, не только выполнял, но и предвосхищал приказ командира, когда его мысль развивала и опережала вашу, — ведь это именно то, что мы называем русской смекалкой и большевистской инициативой!

Высотин остановился и поглядел в затихший зал. Светов сидел, низко опустив голову. Кто-то в зале громко сказал:

— А значение нашей техники?

— Конечно, — ответил Высотин, — немалую роль в бою сыграло то, что наша техника по качеству была лучше немецкой. Но главная причина успеха лежала в коллективном подвиге всего экипажа, в спаянном коллективе, которого не могло быть на кораблях у врага... На каждом нашем корабле столько разных умов и столько разных сердец, сколько служит на нем людей. Их нельзя, как механические детали, подгонять под один шаблон, как призывает Светов. Нечто иное, гораздо более высокое, человеческое, действенное, чем та сила, которая управляет машиной, заставляет эти головы думать и сердца биться в унисон, делает выполнение приказа внутренней потребностью каждого матроса, офицера, порождает такое мужество и бесстрашие, такую находчивость и волю, которых сокрушить нельзя. Это нечто имеет вполне определенное название — советский патриотизм! Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не могло бы подняться ее ввысь, не опираясь на воздух. Советский патриотизм — это есть тот воздух, которым мы дышим, та опора, которая позволяет нам подняться на недостижимую высоту. И ни в дни войны, ни в дни мира нет более ответствен-

ной задачи, чем воспитание советского патриотизма у наших людей.

Высотин посмотрел на Звенигорова и Серова. Глаза командующего весело блестя, начальник политотдела что-то записывал в блокнот.

— В самом узком смысле слова, — продолжал Высотин, — автоматизм, если понимать под ним определенные навыки управления техникой на боевых постах, конечно необходим. Смешно было бы это отрицать. Но разве командиру корабля достаточно уверенности в том, что его матросы усвоили ряд элементарных движений? Нет! И нельзя к этому сводить всю боевую подготовку. Вот у меня на корабле лейтенант Гаранин недавно проводил беседу о «сознательном автоматизме», автоматизме, подкрепленном знанием каждым матросом большой общей задачи и всех частных задач. Он был прав. Но и это еще не все. Каждый из нас будет много уверенней, когда узнает все склонности, качества своих людей и научится использовать их наиболее целесообразно.

Представьте себе, что на большом корабле система центральной наводки повреждена в бою. Командирам башен приходится обходиться собственными средствами... И вот вы отдали приказ открыть огонь. Проходит десять, двадцать, тридцать секунд. Время близится к крайнему рубежу, допускаемому нормами. Но вы спокойно выжидаете эти последние секунды. Вы знаете, что командир одной из башен несколько медлительный, но точный человек, что он сейчас, закончив расчет, откладывает таблицу, знаете, что, открыв огонь, он уже будет бить без промаха. Все происходит так, как вы и предвидели. Что произошло бы, если бы вы не знали личных качеств командира башни, нервничали бы, торопили бы его? Всем понятно, что момент открытия огня только отдалился бы, вероятность ошибок возросла. Подобных примеров можно было бы привести тысячи. Отличное знание подчиненных — обязательно. Чем лучше знаешь своих людей, тем верней управляешь ими. А то, что говорил здесь Светов, — плод высокомерия и легкомыслия...

Высотин остановился, подумал и, махнув рукой, сошел с трибуны.

— Командир у нас полный единоначальник, — сказал, вставая, Звенигоров. — Каждый его приказ для всех подчиненных — воплощение воли народа, Родины, партии — закон жизни! Офицер для матроса не только начальник, он и учитель, и друг, и любящий отец. В нем должны видеть бойцы свой идеал человека, его берегут как зеницу ока, грудью своей прикрывают от вражеской пули в бою. Вы понимаете, какая ответственность лежит на каждом из нас?!

Можно ли правильно воплощать волю партии, волю народа, не относясь с глубоким уважением и вниманием к мыслям и чувствам тех его сынов, которые носят матросскую форму? Можно ли быть хорошим учителем, воспитателем, другом, считая себя непогрешимым и не желая учиться на собственных ошибках? Можно ли быть отцом, не испытывая отеческих чувств? Нет, нет и еще раз нет. А то, что говорил здесь Светов, опасное заблуждение. Мы все понимаем это...

Светов поднялся, сделал, напрягая всю свою волю, шаг к трибуне, но вдруг понял, что сказать ему, собственно говоря, нечего, и снова тяжело опустился в кресло.

Светов с трудом припомянул, как он добрался домой. Мысли перекутались, и он никак не мог отыскать ведущей нити. Кажется, ехал он на штабной машине, и рядом с ним сидел Высотин. Да, Высотин проводил его до дверей квартиры... Зачем-то успокаивал... Но зачем? Ведь сам же только что обвинял...

Жена, увидев его таким расстроенным, спросила: «Что случилось?»

Он ничего не ответил и прошел в спальню, сбросил с себя тужурку, выпил стакан воды... Разболелась голова.

Светов бросился ничком на кровать. Он чувствовал, что произошло что-то непоправимое. Как могло случиться, что его добрые намерения могли быть так истолкованы? Ведь он воевал, жизни не щадил в боях за Родину...

«Нет, нет, непостижимо!.. Я просто хотел подчеркнуть роль командира-единоначальника на корабле, роль дисциплины, выучки, а мою мысль свели к абсурду, — думал Светов, но, думая так, сам понимал, что просто ищет оправданий, лжет в чем-то перед самим собой. — Нет, не так. Но что же тогда, что?»

В комнату тихо вошла Татьяна. Она посмотрела на вздрагивающие плечи мужа, и какое-то новое, еще не испытанное чувство захватило ее. Игорь, ее самоуверенный и сильный Игорь, впервые нуждался в поддержке. Таня села на кровать рядом с мужем и ласково провела ладонью по его жестким волосам.

— Ты болен, Игорь?

Он не ответил, только поднял голову с подушки и положил ей на колени.

«Что же сказать ему, чем успокоить?» — думала Татьяна. И вдруг — это случилось помимо ее воли — подняла его голову и крепко поцеловала в губы.

— Я люблю тебя, Игорь.

В другое время она никогда бы так не сказала ему о своей любви. Он рассмеялся бы, удивившись такому странному после многих лет семейной жизни признанию. Но сейчас он понял ее.

— Хорошая ты моя, — сказал он тихо, — очень хорошая... Как же мне тяжело!

Светов смотрел в глаза Татьяны. Это были глаза, которые не умели ни утаивать, ни лгать. Жена ни о чем не спрашивала, но, конечно, догадывалась о многом. И хотя она не сказала ему этого, он чувствовал: что бы с ним ни случилось, не погаснет любовь в этих глазах.

Неодолимая потребность открыть перед Таней всю душу овладела Световым.

— Плохо, Таня, очень плохо. Статья, на которую я возлагал столько надежд, оказалась самой большой моей ошибкой... Все было против меня... все, будто я чужой, будто не воевал я вместе с ними, будто я не командир гвардейского корабля.

Татьяна слушала и ловила себя на том, что ее интересуют не столько факты, сколько отношение Игоря к ним. Именно поэтому она не могла внутренне не радоваться тому, что Игорь, наконец, перестал настаивать на своей правоте. «Большая ошибка», — нелегко ему было это сказать. А все-таки сейчас он страдает не только от сознания, что сделал эту ошибку. Гораздо больше мучит его уязвленное самолюбие, оскорбленная гордость. А это

очень плохо. «И я должна ему сказать об этом», — твердо решила Таня.

Светов протянул руку к тужурке, висевшей на спинке стула, Татьяна опередила его, сама достала из кармана папиросы, подала мужу, зажгла спичку. Он затаился глубоко и жадно.

— Вспомнила я сегодня, Игорь, один случай из моего детства, — сказала задумчиво Татьяна. — Мне было лет двенадцать. Я гостила тогда у бабушки в Белоруссии, в деревне под Мозырем. Знаешь, там вокруг дремучие леса, глухие топи. В день моего рождения получила я в подарок новое платье — красивое, белое, в синих цветочках. В этом платье убежала с ребятами в лес за грибами. Не помню почему, но, кажется, из-за платья, которым я хвалилась, один мальчишка запустил в меня горстью черники. Повздорила я с ним, отделилась от ребят и пошла по другой дороге. Слышу, зовут меня ребята, а я не откликаюсь. Увидела лилии, сандалики с ног сняла, зашла на болото и решила нарвать цветов. С кочки на кочку прыгаю. Ну, думаю, с цветами домой приду! Только подумала, а кочка под ногой вдруг вглубь пошла. И увязла я сразу по колени в топи. Хочу одну ногу выдернуть, другая еще глубже погружается. Страшно мне стало, заплакала я, закричала, а болото все глубже и глубже меня засасывает. По грудь в грязи я уже была, когда прибежали на мой крик ребята, помогли выбраться из трясины. — Татьяна немного помолчала. — Потом, помню, стою я перед бабушкой и плачу, и больше всего жалко мне нарядного платья. А бабушка мне говорит: «Глупая ты, глупая, тебе бы радоваться, что из болота вытащили, а ты по платью плачешь. С него-то ведь грязь и смыть можно...»

Игорь Николаевич слушал жену сначала рассеянно, думая, что она просто хочет воспоминаниями о детстве отвлечь его от тяжелых размышлений, потом, однако, он уловил в ее рассказе скрытую мысль. Это неприятно его кольнуло: «Наивная и не очень понятная аналогия».

— Что же ты этим хотела пояснить? — спросил он, когда Татьяна кончила свой рассказ.

— То, Игорь, что и ты пока больше думаешь о парадном платье, о своем самолюбии.

Светов вскочил, хотел обидеться на жену: «Зачем это она? Мне и так больно!» Но на него спокойно смотрели чистые и ясные глаза Тани, и он ничего не сказал.

## 5

Звенигоров вышел после совещания вместе с Серовым.

— Проедемся за город, — предложил контр-адмирал. Он отпустил шофера и сам сел за руль машины. «ЗИС» помчался по шоссе. На повороте дороги открылось море. Ярко светились огни кораблей. Флагманский корабль возвышался посредине бухты, рядом с ним казались маленькими и легкими голубые силуэты «Державного», «Державенного» и других кораблей. Вдоль берега раскинулись корпуса верфи, виднелись крыши эллингов, дымили трубы.

— А я ведь в юности был отчаянным гонщиком, — не поворачивая головы и не отрывая глаз от дороги, сказал Серов, — и теперь люблю отдыхать за рулем. По-моему, необходимо переключать умственное напряжение на физическое.

Звенигоров согласился. Сегодня особенно хотелось отдохнуть.

— Как долго ты ни знаешь человека, а все же не можешь быть уверен, что знаешь его до конца, — сказал контр-адмирал, обернувшись к спутнику.

— Да, Светов преподнес нам сегодня сюрприз, — ответил Звенигоров.

Они переглянулись, и им стало ясно, что думают они об одном и том же.

— С ветерком? — спросил Серов.

— С ветерком.

«ЗИС», набрав скорость, понесся с предельной быстротой. Разговаривать стало трудно. Контр-адмирал склонился над рулем. Мелькали придорожные столбы, пронзительно свистел ветер. Дорога повернула на мыс, далеко выдававшийся в море. У самых прибрежных скал Серов резко затормозил.

Оставляя следы на влажном песке, они пошли вдоль берега.

— Красота-то какая! — Серов указал рукой на океан.

Далеко в море, там, где недавно село солнце, еще пылала красновато-золотистыми отблесками вода. Заревом догорало на каменистых отрогах, окружавших бухту. Высились сопки, в сумерках похожие на большие шапки.

— Красиво, — согласился Звенигоров, впрочем довольно равнодушно скользнув взглядом по привычному пейзажу. Сейчас его больше всего беспокоила мысль о том, почему Светов не выступил на конференции вторично. Все остальное было для него ясно. Но, как всякий опытный партийный работник, Звенигоров никогда не решался делать выводы о человеке, не узнав, как тот воспринял критику.

Серов вдруг по-мальчишески легко перепрыгнул через двухметровую полосу воды и стал быстро взбираться на сопку, жестом приглашая начальника политотдела следовать за собой.

Звенигоров покачал головой, но, отыскав глазами камешек в ручье, бегущем у подножья сопки, осторожно шагнул и медленно начал подниматься по скользким выступам.

— Старость не радость, говорят, Иван Иванович. — Серов улыбнулся, протягивая руку, чтобы помочь Звенигорову. Командующий имел слабость нет-нет да и хвастнуть своей спортивной закалкой.

— Есть такой грех, — улыбувшись, согласился Звенигоров, хотя командующий был только на год моложе его. Они поднялись на вершину сопки и остановились.

— Хорошо, — сказал Серов, — право слово, хорошо! — Он указал на дымчатую воду залива, зашуршавленную ветром, на огни кораблей и озаренный электрическим светом город. — Люблю я этот край и флот, наше это все, мое и ваше, Иван Иванович. — Он обнял за плечи Звенигорова. — И матросов с кораблей и рабочих с верфи. И чудесно сознавать, что думаем мы всегда об одном, о главном. Понимаете... Об этом пушкинскими словами хочется сказать:

Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!

— Понимаю. А вы не поэт ли, Кирилл Георгиевич? — Звенигоров улыбнулся.

— Нет, Иван Иванович, слишком люблю поэзию, чтобы писать плохие стихи. — Он помолчал и вдруг неожиданно закончил: — Жестоко все-таки побили сегодня Светова, ох, и жестоко!

— По заслугам, — ответил Звенигоров. Его не удивил переход в разговоре. Он и сам невольно все связывал с мыслями о сегодняшней конференции.

— Конечно, по заслугам, — согласился Серов, — но все-таки слишком уж круто.

— Вы думаете?

— Посудите сами: Светов, Герой Отечественной войны, дельный командир, запутался в теоретических вопросах, высказал глупую, ошибочную точку зрения. Ну, разъяснили бы ему ошибку, покритиковали по-дружески, и дело с концом. Для этого у нас собрания, конференции, совещания устраиваются. Так нет же, даже о дальнейших, не имеющих прямого отношения к конференции выводах подумывают. — Это были камешки в огород Звенигорова.

Звенигоров чувствовал, что Серов уговаривает не только его, но и самого себя. Контр-адмирал питал слабость к Светову. Старый моряк, влюбленный во флот, не мог не восхищаться морской подтянутостью, особым блеском, с каким исполнялись обыденные требования службы на «Дерзновенном». Контр-адмирал считал, что боевому офицеру ошибку можно простить. Ему бы очень не хотелось, чтобы сегодняшнему инциденту придавали слишком большое значение. В то же время случай был необычный, трудный. Здесь нельзя было пользоваться всеми силами служебными правами, не будучи окончательно уверенным в своей правоте. Между тем этой уверенности не было. И он искал подтверждения своим мыслям у Звенигорова.

Звенигоров, конечно, понимал, чего хочет Серов. Скажи он: «Да, вы в основном правы, Кирилл Георгиевич, я несколько погорячился и ни на каких служебных выводах не настаиваю», — чтобы весь дальнейший разговор пошел как по маслу. Но именно этого он и не мог сказать.

— Я бы согласился с вами, — сказал Звенигоров, — если бы это было только ошибочное теоретическое выступление, если бы оно никак не было связано с практикой.

— С практикой?

Контр-адмирал почувствовал, что то единство в ходе мыслей, которое делает самый трудный разговор приятным для обоих собеседников, окончательно нарушилось.

— Да... Помните историю с самолетом? Светова не было на корабле, а его старший помощник опоздал объявить боевую тревогу. Не думаете ли вы, что это произошло оттого, что его приучили быть простым исполнителем приказаний? Помните случай со Стебелевым — чуть не загубили человека только потому, что формально подходили к нему. Кстати, когда обнаруживают грязь в трюме парадно блестящего корабля, — это тоже не случайно...

Звенигоров в последнее время много занимался «Дерзновенным». Он приводил факт за фактом. Все они были хорошо известны контр-адмиралу, но сейчас получали какое-то новое освещение.

Серов провел рукой по лбу, будто отирая пот. «Картина, что и говорить, довольно неприглядная». Странно было однако, что слова Звенигорова не удивили, а только



встревожили его. «Неужели же до сих пор я избегал обобщений?» Он невольно ухватился за последний аргумент.

— Вы мастер обобщать, Иван Иванович, — сказал он, — но нужно быть очень осторожным. Жизнь многогранна.

Серов, подняв голову, долго молчал, будто считая усыпавшие небо крупные, яркие звезды.

— Что же, по-вашему, Светов только казался нам хорошим офицером? — продолжал он взволнованно. — Нет, этого, как хотите, я не понимаю.

Звенигоров невольно поморщился. Контр-адмиралу следовало задуматься над тем, откуда могли появиться у советского офицера ошибочные теории.

— Корни, корни световских взглядов надо увидеть, — сказал он вслух, — узнать, какие соки их питали.

— Какие же соки? — уже раздраженно спросил Серов. — У всех нас ведь одни и те же... — Он остановился и пристально посмотрел на Звенигорова, но тот уклонился от прямого ответа.

— Вспомнилась мне, — сказал начальник политотдела, — одна китайская пословица: «Если человека поставить на цыпочки, он не может долго стоять».

— Почему «поставить», Иван Иванович? Китайский мудрец Лао Цзы, насколько мне известно, говорил просто: «Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять».

— Потому «поставить», Кирилл Георгиевич, что человек сам по себе стремится стоять твердо обеими ногами на земле.

— Значит, Иван Иванович, вы думаете, что это мы, что это я Светова поставил? Говорите уж прямо.

— Можно и прямо. Сколько лет он уж слышит: «Светов — талант, Светов — блестящий моряк, равняйтесь на Светова, делайте по-световски», — вот и почувствовал он себя вне критики. Стал себе казаться выше, чем на самом деле есть, мишурой увлекся, на цыпочки поднялся, голову задрал, а тут его еще похваливают. А надо было встряхнуть такого офицера сильной рукой, поднять, чтобы оценил правильно все с большевистской высоты, да поставить твердо на ноги. Этого никто не сделал. Вот и вообразил он себя чуть ли не центром мироздания, вокруг которого земля вертится.

Серов развел руками и упрямо сказал:

— Может быть, отчасти вы и правы, а все-таки на «Державном» служба идет хорошо.

— Не согласен. Вы когда, Кирилл Георгиевич, последний раз на «Державном» у Высотина были? Давно? А ведь там теперь все действительно в образцовом состоянии — и на палубе, и в трюме, и снаружи, и внутри. Там, знаете, весь корабль одной мыслью живет. Новое там рождается. Не отдельные отличники — отличные отделения, скоро отличные боевые части будут. Если хорошо присмотреться, они уже и теперь «Державенный» обогнали.

Контр-адмирал даже покраснел: ведь он недавно слышал об этом, заинтересовался, но как-то потом за делами забыл. «Значит, я что-то прозевал...» Он почувствовал, что больше не может спорить с начальником политотдела. Еще не до конца разобравшись в своих мыслях, он тем не менее был уже убежден, что Звенигоров прав. И как человек решительный и прямой, Серов не стал этого скрывать.

— Значит, виноват во многом сам контр-адмирал Серов, а отвечать сегодня придется прежде всего Светову. А что вы скажете о дальнейшем, Иван Иванович?

— Знаете, я бы хотел прежде, чем ответить на ваш вопрос, заехать к Светову, — спокойно сказал Звенигоров.

— Сейчас? К нему домой?

— Да, к нему домой. Мне бы хотелось знать, о чем он сейчас думает.

— Какое это может иметь значение? — спросил Серов.

— Знаете, Кирилл Георгиевич, когда ударят человека, стоящего на цыпочках, он обязательно упадет, но если есть в нем настоящая сила — снова подымется и твердо на ноги станет. Если нет... В общем, думаю, сегодня больше, чем когда бы то ни было, можно узнать, что Светов за человек и что за офицер.

Серов в раздумье покачал головой, затем, однако, указал на берег и сказал:

— Что ж, спускайтесь, поедем вместе.

## 6

Татьяна вышла в кухню готовить ужин, а Светов тихо, так, чтобы не слышала жена, накиннул тужурку и спустился в сад. Голова продолжала болеть нестерпимо. Каждый звук — скрежет ножа, скрип передвигаемого стула, топот чьих-то ног на лестнице — отдавался в мозгу. В саду же звуки были совсем другими, мягкими, успокаивающими. Едва слышно шелестели листья, однообразно шуршал под ногами гравий на дорожке, тихо-тихо посвистывали синички, перелетая с куста на куст.

В саду и дышалось легче — от земли тянуло вечерним свежим запахом трав, и глазам было приятно смотреть на темнеющую зелень, будто обрызганную прозрачной желтизной заката.

Светов подошел к ограде, пригнул свесившуюся из соседнего сада ветку акации; маленькие прохладные листья коснулись его лба.

«Что же делать, какое принять решение?» — подумал Светов.

— Это ты, Игорь Николаевич?! — За кустом акации показалась фигура Золотова. Он протянул руку Светову и, увидев его расстроенное лицо, предложил: — Посидим, потолкуем?

— Посидим. — Они оба опустились на стоявшую рядом скамью. — О чем же толковать будем? — спросил Светов.

— О чем хочешь. Хоть о звездах — вон, видишь, одна уже появилась. — Золотов достал трубку. — Хоть о луне, что ли, раз не о чем другом.

Светов помолчал. Нагнулся, подобрал с земли сухую ветку и вдруг сломал ее и отбросил.

— Ты веришь мне, Терентий Иванович?

— То есть как? В каком смысле?

— Ну, что я до мозга костей советский офицер?

— Верю, конечно,

— И в то, значит, что я своих матросов вообще уважаю и ценю, в то, что я их не «артикулами, по уставу предусмотренными», а такими же, как я сам, людьми считаю, веришь?

— Вообще? — Золотов сделал ударение на этом слове. — Вообще — верю.

— А в то, что мыслей своих об автоматизме дальше службы, даже уже, гораздо уже, дальше боевой подготовки не распространяю?

— И в это, пожалуй.

— Ну, тогда скажи мне, Терентий Иванович, откуда моя ошибка? — Светов откинулся на спинку скамьи.

Золотов задумался. Закат в небе померк, только края облаков еще светились там, где недавно пылало его зарево. Силуэты деревьев будто сдвинулись, сливаясь в сплошную темную массу. Едва белели лицо Светова и его рука, напряженно сжимавшая вынутый из кармана портсигар.

— Позволь и мне, Игорь Николаевич, задать тебе несколько вопросов. — Золотов повернулся всем телом к Светову. — Помнишь ты наш спор о швартовке?

— Помню!

— А о том, что у тебя на «Дерзновенном» диаметр циркуляции оказался немного больше, чем на «Державном»?

— И об этом и обо всем остальном помню. Но что с того? Не пойму.

Золотов зажег спичку, при ее огне он увидел нетерпеливое выражение на лице Светова и, спокойно раскуривая трубку, сказал:

— Не спеши, Игорь Николаевич, все своим чередом. И машины у тебя износились больше. А почему износились — тоже понятно: злоупотребляет командир «Дерзновенного» ходами. Правильно?

— Может быть, и правильно. — Светов подумал, что все это, однако, еще ничего не объясняет.

— Дальше я спросил себя, — продолжал Золотов, — должен был офицер механик-специалист предупредить и предостеречь командира корабля? Конечно, должен был. Значит, не обращал Игорь Николаевич внимания на его предупреждения. А может быть, не только не обращал внимания, но и одернул: «Не указывай, мол, старшим». Это один только пример. Хочешь, еще приведу. О шлюпке облегченной развее не говорил тебе первым твой старший помощник?

— Не стоит об этом, — сказал Светов.

— Ну не стоит, так и не стоит. — Золотов постучал трубкой по краю скамейки, вспыхнули и погасли искры, будто высеченные огнем. — Ты и теорию свою для того изобрел, чтоб никто тебе командирское самолюбие тешить не мешал. Я, мол, один всему голова. Один талант, один все по-особому делаю.

— Не думал я этого, Терентий Иванович. — Светов потер лоб рукой. — Нет, не думал. Пользы искал для дела.

— Может быть, умом от другого шел, — согласился Золотов, — а нутром, подсознательно, как врачи-психологи говорят, от этого.

Светов промолчал. «Неужели же я ошибался в себе самом?» — мелькнула у него мысль.

Над тайгой вспыхнули зарницы, выхватив из мглы вершины деревьев. Скользнула по небу и исчезла где-то во тьме звезда. От внезапного порыва ветра, вздрогнув, заскрипели ветви клена.

— Тереша, где ты? — донесся голос Полины.

Вслед за тем на узкой, почти скрывававшейся в темноте садовой дорожке показалась и она сама.

— Тереша!

— Я тут... иди сюда! — отозвался Золотов.

— С кем это сумерничаешь? — Полина шла медленно, осторожно обходя разросшиеся у самого края дорожки кусты терновника и акации. — Ах, вы, Игорь Николаевич! — сказала она, подходя и протягивая Светову руку. — Чего же сидите, комаров, видно, не боитесь? Пойдемте-ка лучше к нам. Стол у меня на веранде накрыт. Есть свежая окрошка, хотите?

— Благодарствую, — скупо ответил Светов и замолчал.

Золотову, который за время конференции успел проголодаться, хотелось и плотно поужинать, и поговорить с женой о семейных делах, и послушать, как проигрывает гаммы Оленька, которой недавно купили пианино, и просто посидеть на веранде в удобном кресле-качалке, читая газету. Но Светов молчал, и это его молчание тяготило и тревожило Золотова. Он прекрасно понимал, что не так легко Светову до конца осознать, в чем он ошибался и за что был подвергнут суровой критике, понимал, что между ними, вот сейчас, не все еще было договорено. «Недомолвками Игоря не убедить. Ему подавай не фактики, а факты», — подумал Золотов и тут же решил, что он должен помочь товарищу найти ответы на все мучившие его и неразрешенные вопросы.

— О делах вот мы толкуем с Игорем Николаевичем, — сказал мягко, но решительно Золотов, обращаясь к жене.

По тону голоса мужа Полина поняла: «У нас серьезный разговор, дорогая. Ты здесь лишняя, лучше было бы, если бы ты ушла».

— Вы извините, Полина Васильевна, это я виноват, что задерживаю Терентия Ивановича. Это о моих делах идет речь... — прерывая Золотова, горячо вмешался Светов. Он порывисто приподнялся, но Золотов удержал его.

— Полно, Игорь Николаевич, торопиться нам куда...

— Это мне надо извиниться, что помешала вашему разговору, — ответила Полина Светову, — и, право, побесудите... ведь свои люди... А я пойду детей накормлю. Вас жду, Игорь Николаевич, обязательно приходите окрошки моей отведать, такой квас для нее удался ароматный... — Полина, приветливо кивнув головой, пошла к дому, шурша широким платьем.

Зарницы вспыхивали и гасли. Поднявшийся было ветер утих, стало душно и безмолвно, как бывает часто перед дождем. Среди черных кустов, мягко трепеща крыльями, пронеслась летучая мышь, закружилась над выделяющимися в темноте белыми кителями сидящих на скамье офицеров.

— Хорошо тебе, Терентий Иванович, — нарушив молчание, сказал Светов и посмотрел в ту сторону, куда ушла Полина.

— Если ты о семье, так у каждого из нас своя семья... А что касается Полины, то для меня она — друг верный и давний.

— Всё так, всё так... — неопределенно сказал Светов. Он вспомнил свой разговор с женой. «А разве не от меня зависело, чтобы и я мог то же сказать о Татьяне?» — подумал он.

Золотов не спеша снова набил и раскурив трубку. Вспыхнула спичка, и при ее огне Светов заметил, что Терентий Иванович не такой уж спокойный, как был,

казалось, вначале. Офицеры обменялись короткими взглядами. Оба они хотели вернуться к прерванному приходом Полины разговору, но каждый из них не желал начинать его первым. Золотов потому, что считал это, со своей стороны, в какой-то мере бестактным, а Светов не решился открыть до конца душу.

— Да... — сказал задумчиво Золотов. — Великое дело — правильно наладить жизнь. Дети наши вырастут и по-своему это оценят. А может, у них будет другая мерка, может, даже более строгая, как знать...

— Наверное, более строгая... — откликнулся Светов. У него мысли снова вернулись к тому, что сильнее всего тревожило его сегодня. И он, наконец, решился...

— Все-таки, Терентий Иванович, — сказал быстро и потому картавя Светов, — не могу понять до конца. Ну, слаб я как теоретик — никуда не гоюсь. Ну, допускал какие-то ошибки и на практике. Но разве они так уж велики? Разве была от них опасность «Дерзновенному»?

— Была, — подумав, твердо ответил Золотов. — Вот послушай, Игорь Николаевич. — Золотов немного помолчал, ему хотелось, чтобы то, что он сейчас скажет, было до предела наглядно и убедительно. — Представь себе такую картину: скажем, на будущих учениях получил «Дерзновенный» приказ идти в шторм через Седые Буруны, да еще не Северным, а Южным проливом.

— Неужто же думаешь, я не проведу? — вспыхнул Светов. — Да я «Дерзновенный» через любой лабиринт проведу без единой царапины...

— Ты-то проведешь, не сомневаюсь. — Золотов запыхтел трубкой. — А если посредник, который во время учения будет на «Дерзновенном», вдруг тебе объявит: «Вы убиты, товарищ Светов, командование кораблем переходит к вашему старшему помощнику». Тогда что? Ты уверен, что твой старший помощник или, скажем, штурман, как и ты, без единой царапины «Дерзновенный» проведут в шторм Южным проливом?

— Не знаю, не проверял... — Светов раздраженно щелкнул портсигаром, доставая папиросу. Ему вспомнилось, как растерялся старший помощник «Дерзновенного» во время налета иностранного бомбардировщика на Белые Скалы.

— Не знаешь... Не уверен, значит, в своих людях, — не скрывая горькой иронии, заметил Золотов. — А вот у меня, батенька, сейчас прямо перед глазами стоит все, что произошло бы на ходовом мостике «Дерзновенного». Заколебался бы твой старший помощник, ответственности непривычной испугался. Командовал бы неуверенно, на тебя глазами косил. А ты бы, ну конечно, не выдержал, да по своей горячности, всем известной, вскочил, да и подал бы команду, что-нибудь вроде: «На румбе... Полный вперед... Эй, впередсмотрящие, глядеть в оба!» — «Вы убиты, товарищ капитан третьего ранга!» — это бы сказал посредник тебе. «Да что там — условно убит. Мой «Дерзновенный» в опасности!» — это ты бы ему. Ну а посредник получил бы у флагмана по радио разрешение и принял бы командование «Дерзновенным» на себя. «Протестую!» — возмущался бы ты, видя, что все делается не так, как ты бы хотел. А посредник прочитал бы тебе отповедь: «Гвардейский корабль, как могло на нем такое случиться! Хорошо еще, что это только учения».

— Разве такая проверка и вправду штабом была задумана? — хриплым, срывающимся голосом перебил Светов. В волнении он сунул в карман коробок спичек, который до этого держал в руке, и нагнулся к Золотову, прикуривая от трубки, точно за этим инстинктивным движением стараясь скрыть охватившие его смущение и растерянность.

— Ну, задумано или не задумано, в конечном счете не важно, — сказал Золотов, — но ты мне, Игорь Николаевич, признайся: похоже на действительность все то, что я тебе, так сказать, обрисовал, или это досужие мои вымыслы? Ну, похоже?

Светов долго молчал. Он будто воочию увидел «Дерзновенный», идущий узким Южным проливом через Седые Буруны. Бьются о скалы океанские волны, опасность угрожает кораблю... Он видел себя отстраненным от управления кораблем и все то, что могло последовать за этим. «Убил в самом деле меня Терентий Иванович». Светов едва выдохнул глухо:

— Похоже, правда все это.

— Ну вот... А теперь время ужинать. Давай кликнем твою Танюшу, да и пойдем к нам. За столом и отвлечемся от всяких служебных разговоров.

— Нет, не до ужина мне сейчас... Поверь мне, Терентий Иванович, не могу.

— Ну как хочешь... Понимаю... Только не о выступлении своем на конференции жалею, Игорь Николаевич, — закончил Золотов, подымаясь и пожимая Светову обе руки. — Выступление твое плохое, прямо скажу, да не худая без добра. Помогло оно нам и тебе самому.

— В чем помогло, Терентий Иванович?

— В ошибках твоих разобраться.

## 7

Отказавшись от ужина, Светов заперся в своём кабинете и долго обдумывал разговор с Золотовым. Перед ним проходили все события последних месяцев и все его поступки. Каждый из них хотелось оценить по-новому. Это было мучительно трудно. Одно сознание своей неправоты еще не давало простого и правильного ключа к решению всех сложных корабельных и личных дел. «Что же я должен сделать на «Дерзновенном» завтра? Что нужно людям сказать? — спрашивал он себя, но ясного ответа не было. — Значит, не гоюсь теперь в командиры? По-старому — плохо, по-новому — еще не умею. Что ж, надо без увиливаний смотреть правде в глаза».

Светов взял несколько листов чистой бумаги. Взгляд его упал на копию отосланной в московский журнал статьи. «И с этим тоже надо покончить».

Он полистал аккуратно перепечатанные на машинке страницы, отложил их в сторону и, взяв из подставки ручку, решительно вывел на белом листе: «Рапорт».

...Раздался короткий звонок, потом стук закрывшейся входной двери, и из коридора донеслись голоса Серова и Звенигорова.

Светов в недоумении поднялся из-за письменного стола. Что мог означать их поздний визит? Как следует сейчас вести себя с начальством? Он торопливо надел китель. Закрывая дверцу платяного шкафа, машинально

бросил взгляд в зеркало. В стекле мелькнуло бледное, худощавое лицо с лихорадочно горящими глазами.

«Я им во всем честно признаюсь...» — подумал он.

Татьяна уверенно и спокойно ввела гостей в кабинет и, давая мужу время притти в себя, заговорила с ними так, будто ничего необычного не было в их неожиданном приходе. Осведомилась у Звенигорова об успехах его дочери, спросила Серова, понравился ли ему концерт самодеятельности. Вела себя Татьяна настолько непринужденно, была такой милой и радушной хозяйкой, что никак нельзя было заподозрить, что она серьезно взволнована.

Звенигоров и Серов, мгновенно оценив ее такт, подерживали завязавшуюся беседу. Даже Светов вставил какую-то незначительную фразу.

Татьяна, убедившись в том, что Игорь уже овладел собой, вышла из комнаты, сославшись на необходимость похлопотать по хозяйству.

Внутреннее чувство подсказывало ей, что поздний визит большого начальства — к добру. Только бы Игорь не давал воли своему гонору.

С уходом Татьяны разговор в кабинете сразу оборвался; Серов, облокотясь на спинку кресла, дымил папиросой, Звенигоров рассматривал корешки книг на полках.

Светова тяготило молчание. И все-таки он не начинал разговора, следя взглядом за влетевшей в окно и кружившейся вокруг лампы бабочкой. Не мог же он с невозмутимым видом продолжать разговор о пустяках.

Командующий и начальник политотдела пришли к нему неспроста. Это, конечно, ясно. Что ж, он поставит сразу все точки над «и».

Он взял с письменного стола лист бумаги и протянул его контр-адмиралу.

— Товарищ командующий, прошу принять мой рапорт. — Голос Светова прервался; почти шопотом, склонив голову, он добавил: — Я не оправдал вашего доверия...

Серов, хмурясь, прочитал рапорт и передал его Звенигорову. Да, теперь командующий все более убеждался в том, что Звенигоров прав. Прав в том, что он, Серов, переоценил деловые и нравственные качества командира «Дерзновенного» и напрасно пытался его защищать.

Звенигоров, не читая, отложил в сторону рапорт и сказал:

— А мы пришли к вам, Игорь Николаевич, как коммунисты к коммунисту. Мы хотели бы с вами поговорить не о служебных выводах, а о внутренних, личных.

— В рапорте есть мой личный вывод, товарищ начальник политотдела, — поспешно ответил Светов.

— А знаете, что я прочел между строками вашего рапорта? — не выдержал Серов. — Я прочел в нем, что капитан третьего ранга Светов считает себя несправедливо обиженным, что ему собственное самолюбие дороже его корабля, его друзей, его дела. Так это или не так?

Серов чувствовал, как с каждым словом растет в нем досада. Он обманулся в командире «Дерзновенного» и не мог этого простить ни себе, ни ему. Контр-адмиралу казалось теперь, что и начальник политотдела привел его сюда только для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою правоту.

— Нет, не так, — Светов еще более побледнел. — Нет, не так, — твердо повторил он.

— Докажите же, докажите нам это, — ободряюще, с надеждой сказал Звенигоров.

Светов достал запечатанный конверт, вскрыл его и протянул письмо Звенигорову.

«Уважаемый редактор! Прошу немедленно вернуть мою статью «Командир и подчиненные», — прочитал вслух Звенигоров. — Товарищи по службе доказали мне глубокую ошибочность моих основных положений. Буду рад самой резкой критике и с вашей стороны. Понимаю, что речь должна идти не об отдельных исправлениях в ее тексте, а о коренном пересмотре всех выводов».

— О каком пересмотре? — резко спросил Серов.

Снова, в который раз сегодня, перед Световым предстали притихший зал офицерского клуба, фигура Высотина, опершегося локтями о трибуну, снова слышал он каждое слово товарища, бывшее по нему в упор. Вот что должен он повторить. И пусть потом многое будет переделано и выражено по-своему, по-другому, главное ясно...

— Я думаю, — сказал Светов, — это будет статья о том, как рождается, как воспитывается единство мыслей, воли, действий командира и его подчиненных, о том, как командир, обучая матросов, сам учится у них. О том, как каждый успех, каждая победа являются плодом коллективных усилий. — Он помедлил и, подняв голову, поглядел на Звенигорова.

— О том, что командир должен быть прежде всего коммунистом, очень знающим и очень скромным, очень требовательным не только к другим, но и к себе, — добавил за него Звенигоров.

— Да, это главное, — сказал Светов.

— Вот и сумейте стать таким, Игорь Николаевич, — сказал Звенигоров.

— А рапорт — это ваша слабость, — добавил Серов, — да, да — слабость...

— Боялся, что вы и разговаривать со мной не захотите, — признался Светов. — И трудностей боялся, и не знал, с чем к людям притти.

— Все это не страшно, — сказал Серов. — Находчивости, и умения, и командирского такта — всего у вас хватит... — Командующий помолчал немного. — Не страшно, конечно, в том единственном случае, если вы в самом деле поняли свои ошибки до конца. — Серов выжидающе помолчал.

— Понял, товарищ контр-адмирал, — твердо ответил Светов. Теперь уже сомнения оставили его. Мог ли он верить в себя меньше, чем верили в него другие? — Понял и докажу это!

— Что ж, поглядим...

— Возьмите обратно, — Звенигоров протянул Светову рапорт. Потом он подошел к двери, открыл ее. — Татьяна Васильевна, — позвал он, — как же не стыдно вам лишать гостей вашего общества?

...Серов и Звенигоров вышли от Световых в первом часу ночи. Татьяна и Игорь вместе проводили их до машины.

— Я считаю, что командир «Дерзновенного» осознал все глубоко и кается искренне, — сказал Звенигоров, когда они остались наедине с Серовым.

— А не думаете ли вы, Иван Иванович, что это произошло слишком быстро?

— Нет, не думаю. Настоящие, правильные чувства всегда жили в Светове, только он в угоду своему честолюбию стал в последнее время подавлять их, прятать от самого себя, вот и оброс шелухой. Знаете, Кирилл Георгиевич, когда пшеницу пропустят через веялку, шелуха сразу долой, а зерно, чистое, отборное, остается. Так и со Световым получилось.

Серов не ответил. Он молча думал всю дорогу. И только прощаясь со Звенигоровым, сказал просто и душевно:

— Спасибо, Иван Иванович.

— За что же? — удивился начальник политотдела.

— Многому я у вас сегодня научился...

— Не у меня, у партии. Это она нас всех ценить и понимать человека учит, — тихо ответил Звенигоров.

## 8

В гавани стало тесно от кораблей, вернувшихся из похода. От края и до края виднелся лес мачт, труб, вымпелов. «Державный» стоял у стенки, на своем обычном месте, неподалеку от «Дерзновенного».

Весь день палило солнце, и матросы, тренируясь у орудий и механизмов, обливались потом. К вечеру жара спала, однако раскаленная железная палуба и надстройки продолжали излучать тепло.

Наступило время развода суточного наряда. Вдоль борта «Державного» замерли в строю моряки: караул, дневальные по помещениям, командиры вахтенных постов, специальные наряды боевых частей и служб...

Над спокойной водой бухты, в недвижимом, будто сгущенном воздухе, поплыли звуки оркестра флагманского корабля, игравшего «Встречный марш».

Из рубки показался принимавший дежурство Гаранин, произвел развод суточного наряда и, выполнив все необходимые формальности, подошел к Плакуше.

Фельдшер стоял, облокотившись о леера, засунув руку в карман, и, видимо, о чем-то сосредоточенно размышлял.

— Нарушаете, эскулап, корабельные правила. Забыли, наверно, что скоро вам командиру устав сдавать? — спросил Гаранин.

— Почему забыл? — не понял Плакуша.

— А как же, три нарушения сразу: рука в кармане — раз, на леера навалились — два, а это, — Гаранин вытащил у фельдшера из верхнего кармана кителя самошашущую ручку, — это — три.

— Опять моя рассеянность, — краснея, пробормотал Плакуша и, увидев приближающегося Кипарисова, вдруг заторопился:

— Знаете, Гаранин, мне надо сейчас на камбуз взглянуть... — Плакуша опустил ручку в брючный карман. Лицо у него стало необыкновенно озабоченным.

— Есть одна ошибка!

— Какая? — В глазах Плакуши промелькнули растерянность и удивление.

— Никогда не проявляйте показной деловитости, увидев старшего начальника. Это производит фальшивое впечатление. — Гаранин с шутливой назидательностью помахал пальцем перед лицом фельдшера, потом, повернувшись, пошел навстречу Кипарисову.

У орудия имени Петра Чайки стояли Зеленцов и Ташыбаев. Шермат, держа в руках справочник, экзаменовал товарища. Зеленцов вычерчивал в блокноте траектории полета снарядов.

Петров на полубаке в центре группы матросов читал вслух «Молодую гвардию». Несколько поодаль Парамонов беседовал с Головенченко.

— Ну как, жена еще не сдалась? — спрашивал, улыбаясь, замполит.

— Еще держит оборону, — серьезно отвечал боцман. — Только есть признаки, что недолго устоит. Дипломатию хитрую такую развела, и то и се...

— Какую же?

— Пишет: «У вас там, наверно, и земли нет — одни камни, и солнца не побачишь, и хаты не найдешь...»

— Она, что ж, ничего про наши Белые Скалы не знает?

— Да знает. Я ей про все описал... и что квартиру мне дают, и что солнце у нас как на Полтавщине, — боцман пошевелил пушистыми усами, которые, казалось, вобрали в себя все краски заката, — одним словом, упирается жинка: «Мне, пишет, подавай официальное запрошение». А я же в горсовет за такой бумагой не пойду... Смех... Вот если б вы, товарищ капитан-лейтенант, ей приехать посоветовали. И так, чтоб, вроде, я про то ничего не знаю... — закончил он просьбой.

— А зачем это нужно скрывать? — удивился Парамонов.

Головенченко замаялся.

— Хозяин в семье я, — сказал он наконец. — Что ж люди скажут? Своей власти над жинкой нехватито...

Парамонов, взглянув на огромного боцмана с усами как у запорожца и представив себе, что им командует жена, расхохотался. Головенченко растерянно-подергал ус. Его ищительный и немного удивленный взгляд, казалось, говорил: «Что же, товарищ комиссар, ведь и боцману по жене скучать не возбраняется».

— Все понятно, боцман, — сказал Парамонов, — сделаю, как вам хочется. Приходите сегодня ко мне. Бстати и о корабельных делах потолкуем. — Он легонько похлопал Головенченко по плечу и закончил деловым тоном: — Готовим собрание по обмену опытом отличных специалистов. Надо, чтобы вы участие приняли...

Из люка, неподалеку от орудия, где занимались Ташыбаев и Зеленцов, показалась голова Салиева.

— Шермат, пошли...

Ташыбаев, оставив Зеленцова, быстро спустился вслед за Салиевым в кубрик. Он вынул из рундука свернутый в трубку чертеж.

Через минуту Салиев и Ташыбаев уже стучались в каюту Махотина.

— Вот принесли, товарищ капитан-лейтенант, — коротко доложил Салиев.

Махотин привычным движением расстелил перед собой чертеж. На ватманской бумаге были изображены: приточная решетка котельного вентилятора, всасывающая шахта со всеми ее изгибами и сам вентилятор. А над ним — продольные линии, назначения которых инженер не знал.

— Что это? — спросил он Ташыбаева. — Рассказывайте.

— Помните, сказали вы мне в бухте Звездочка о завихрении, — начал, волнуясь, Ташыбаев. — В тот же день в шахту полез, посмотрел. Интересно было, как это получается. И пришла мне в голову такая мысль: раз, думаю, воздух потоком идет, как вода, об стенки ударяется, водоворотом вертится, значит, можно его чем-то и направить куда следует. Ну вот, попробовали мы вместе с Салиевым ребра такие из фанеры сделать. Поставили — меньше завихрение, правильной воздушный поток идет, и гул ровнее стал... И потом уж посидели над чертежом и считаем так, если лопатки направляющие над самим вентилятором поставить, совсем будет хорошо.

Махотин внимательно всматривался в чертеж. То, что предлагал матрос, было крайне просто и не вызвало никаких сомнений. Оставалось только проверить, уточнить расчеты. «Но это уже когда корабль станет на зимний ремонт», — подумал инженер.

— Светлая голова у вас, Ташыбаев, — сказал он. — И вы, Салиев, молодец! — повернулся Махотин к старшине.

Шермат смутился и, не зная, что теперь делать, спросил:

— Так разрешите быть свободным?

— Да. — Махотин немного подумал и добавил: — Вы обязательно приходите ко мне в свободное время запросто. Чувствую, найдется у нас о чем потолковать.

— Спасибо!

Оставшись наедине с собой, Махотин отодвинул чертеж и задумался о Ташыбаеве. «Талант... Почему же я об этом раньше, хотя бы полгода тому назад, не знал? Почему он сам ко мне не приходил? А мог ли притти, если я всегда сижу в бироком», — упрекнул Махотин себя. Он стал мысленно оценивать людей своей боевой части и других знакомых ему матросов корабля. «Сколько из них такие же Ташыбаевы?»

...— Вот некоторые из нас считают: строгий, суровый офицер капитан-лейтенант Махотин, — говорил Салиев Шермату, когда они шли по коридору, — а я тебе скажу, он — душа-человек.

## 9

Отбивались склянки, чередовались вахты, и жизнь на корабле текла мерно, заведенным порядком. В кают-компании стали собираться офицеры к вечернему чаю. Сквозь иллюминаторы, над которыми поднявшийся ветер раздувал шелковые занавеси, видна была набережная с качающимися зонтиками фонарей и растекавшимися у их подножий лужицами света. В кают-компании разговор шел о литературе, посвященной великим полководцам и флотоводцам.

Плакуша, облокотившись на пианино, держа в руках книгу из серии «Жизнь замечательных людей», сказал, что облик Суворова стал ему понятней и ближе, когда он познакомился с его стихами и письмами к дочери, которую генералиссимус называл «Суворочкой». Озеров, подкашнув фельдшеру, тут же посетовал на то, что книга об Ушакове, которую он недавно прочел, написана скучно и сухо.

— Дела адмирала, видишь, огромные, а душа его не раскрыта...

— Это и неважно, — вмешался неожиданно Кипарисов.

— Почему неважно? — удивленно спросил Парамонов. Он сидел в углу у столика, просматривая газету, но не пропускал ни одного слова из разговора.

— А потому, что для нас совершенно безразлично, писал Суворов стихи или не писал, любил какую-нибудь женщину или не любил Ушаков, плохо или хорошо воспитывал детей Корнилов. Важно, что они выигрывали сражения для России. — Кипарисов погасил окурок и отодвинул от себя пепельницу. — Больше того, не только к флотоводцам прошлого это относится, но и к нам, сегодняшним офицерам. Военная профессия — альфа и омега нашего существования. И родина по службе оценивает каждого из нас.

— Это верно, — сказал Парамонов. — Но вы забываете, что служба для офицера не только профессия, но и быт. И такова уж наша жизнь, что все, о чем мы мечтаем, что любим, о чем заботимся в море ли, на берегу ли, — всегда в любом месте и в любое время хоть как-то связано с флотом. — Парамонов вспомнил о своей жене, о близнецах. «Она рожала, я с ней был, о «Державном» тревожился. Я на корабле, а ее приезда жду — не дождусь». — Не могу я отделить офицера-специалиста от офицера-человека, — закончил он. — И, как хотите, судить о нем буду не только по тому, как дело знает, но и по тому, какие у него друзья, что за книги он читает и как семью строит.

Высотин, остановившись в коридоре неподалеку от кают-компании, услышал голоса Кипарисова и Парамонова, но сущности спора по донесшимся до него обрывкам фраз не уловил.

— Что ж это, старший помощник, кажется, аскетизм проповедует? — сказал он с улыбкой, входя и жестом приглашая всех к столу. — Против быта выступает?

— Нет, — хмуро ответил Кипарисов. — Я только о том, что быт к службе не относится.

Высотин сначала хотел ответить шуткой. Он весь день думал о прошедшей теоретической конференции и сейчас рад был бы отдохнуть за легким разговором, но вдруг ему показалось, что между короткой репликой Кипарисова и тем, что говорил вчера Светов, есть какая-то связь.

— Сложен человек. Как его в схему уложить, Ипполит Аркадьевич?

Кипарисов не ответил. Разговор навел его на мысль о Марии. «Я, конечно, виноват перед ней. Но что ж делать? Каждый из нас эгоист, хочет он этого или не хочет», — привычно оправдал себя Кипарисов.

Вестовые разносили чай. В кают-компанию вошел Гаранин и попросил разрешения сесть к столу. Придвинув к себе сахарницу, он по укореившейся привычке положил в свой стакан пять ложек сахара.

— Не жалейте, фельдшер, и не бойтесь, сахарной болезни у меня нет и в помине, — бросил в шутку он Плакуше, изобразившему на своем лице удивление и ужас. Помешав ложкой в стакане, Гаранин поднес его к губам. Но в эту минуту один за другим раздалось несколько звонков.

— Увы! А чай был сладкий-сладкий, — ставя стакан, с сожалением проговорил Гаранин и выбежал из кают-компании.

— Большое начальство, — сказал, подымаясь и быстро идя вслед за ним, Высотин.

С палубы донесся сигнал «захождение», потом послышалась команда: «Смирно!»

## 10

Серову после вчерашнего разговора со Звенигоровым не терпелось побывать на «Державном». Весь день он был занят неотложными делами, а вечером сказал начальнику политотдела:

— Давайте, Иван Иванович, к Высотину зайдём.

— Не поздно ли?

— Ну что ж, что поздно. Хотя с офицерами часок по-дружески потолкуем, предварительно, так сказать, а завтра я уж один по-деловому с утра на «Державный» нагряну.

Сопровождаемые командиром «Державного» командующий и начальник политотдела вошли в кают-компанию.

Контр-адмирал поздоровался со вставшими при его появлении офицерами и предложил им продолжать чаепитие. Затем, отказавшись занять командирское место во главе стола, сел по левую руку от Высотина.

— Гости мы у вас, только гости сегодня, — сказал контр-адмирал, придвигая к себе стакан, и весело спросил:

— Ну, как, командир, чай у вас еще знаменитый, золотовский? Соблюдаете традицию?

— Хозяину хвалиться не к лицу, — ответил Высотин.

— Ладно, мы сами оценим, — сказал Звенигоров, садясь напротив командующего.

Серов привычно окинул внимательным взглядом кают-компанию — портреты на переборках, стол, лица присутствовавших. От его наметанного глаза не утаилось бы ни малейшее пятнышко на лакированной крышке пианино, ни тускло зеленеющая нечищенная пуговица на кителе офицера. Однако все было в порядке. Контр-адмирал, отхлебнув чай, пошутил:

— Гость нынче взыскательный пошел. Раньше ведь как говорили: «Не красна, мол, изба углами, а красна пирогами». А теперь надо, чтобы и пироги были вкусны и углы в избе все были красны. А главное, люди хороши... Так, что ли?

Офицеры промолчали. Никто из них не чувствовал себя свободно в присутствии контр-адмирала.

Серов допил чай. Взглянул на часы. Командующий понимал, что все ждут, когда он поднимется. «Нет, они не могут меня просто гостем считать, и я не могу себя не чувствовать начальником», — подумал Серов.

— Я немного задержу вас, товарищи, — сказал он. — Большое дело на «Державном» начато. Вот я и прошу вас рассказать мне, как вы боретесь за отличный корабль. — Командующий отодвинул свой стул от стола, достал папиросы, закурил. — Начинайте хоть вы, штурман.

Россинский поднялся.

— Можно сидя, Николай Арсентьевич, — сказал Серов и, положив пачку «Казбека» на середину стола, обратился ко всем: — Прошу...

Очевидно, именно это сочетание чисто делового вопроса, какие обычно обсуждались на совещаниях, с простотой в обращении нужно было, чтобы все в кают-компании почувствовали себя непринужденно,

— Вы знаете, товарищ контр-адмирал, — сказал Россинский, — что я обошел едва ли не все моря земного шара, участвовал в годы войны во многих боях. И вот, размышляя над виденным мною, я пришел к выводу, что самое главное для моряка — быть готовым к любым неожиданностям. Пусть разобьют снарядами штурманскую рубку, пусть не останется ни одного компаса — сумеи точно так же вести корабль днем и ночью по солнцу и звездам. Пусть снесет ураганом все вежи в проливе, где на каждом шагу рифы и мели, — сумеи мысленным взором увидеть их там, где они должны стоять. Пусть падет в бою смертью храбрых половина артиллерийского расчета — оставшиеся в живых комендоры обязаны так же уверенно, как и раньше, вести огонь.

Вот, исходя из этого требования, я и строю учебу со своими подчиненными. К этому призываю своих товарищей офицеров.

Россинский стал рассказывать о случаях из своей морской жизни, подсказавших ему задачи, которые он давал на ученьях матросам и старшинам.

Вслед за Россинским докладывал Махотин:

— В боевой части три отличных отделения. Добились правильного режима в работе котлов, полностью устранили дымность, сэкономлены тонны горючего. Внесено немало рационализаторских предложений. Могу с уверенностью сказать, что каждый матрос в моей боевой части стремится служить образцово.

Офицеры выступали один за другим, и кто бы ни говорил — Россинский, чья речь казалась немного книжной и чуть-чуть старомодной, Махотин, медлительно чеканявший короткие суховатые фразы, или Гаранин, не упускавший случая блеснуть перед начальством лаконичной четкостью военного языка, — в словах каждого из них командующий чувствовал ту уверенность в себе, которая бывает лишь у людей, непрерывно двигающих свое дело вперед.

Серов задал командирам боевых частей несколько вопросов, связанных с их личной учебой. Звенигоров заинтересовался ближайшими планами замполита. Потом командующий отпустил офицеров.

— В общем, весьма доволен! — сказал Серов Высотину, когда все ушли. — Верю, что скоро «Державный» станет отличным кораблем. — Контр-адмирал помолчал немного и добавил: — Но должен предупредить об одной опасности. Достаточно ли закреплены знания новых отличников? Готовы ли они полностью ко всем испытаниям? Сейчас на океане тишь да благодать, а осенние маневры будем проводить в период штормов, в особо сложных и трудных условиях. Понимаете? Вот там и будет настоящая проверка. На это ориентируйтесь. К этому готовьте своих людей.

Когда командующий и начальник политотдела, покинув «Державный», шли по пирсу, Звенигоров спросил Серова:

— Что ж, Кирилл Георгиевич, может быть и на «Державенный» заглянем на часок? Ведь рядом... А?

— Нет, — ответил твердо контр-адмирал. — Светова теперь дергать нельзя. Помогать ему рано, подменять вредно. Сам должен во всем разобраться и все найти. А потом поглядим.

— И это верно... — подумав, согласился Звенигоров.

Уже заалело небо над океаном, пар клубился над посветлевшей водой, а Белые Скалы еще скрывались в предутренних сумерках. Потом сумерки начали медленно отступать. Побледнели и погасли огни фонарей на набережной. Волны чистого света, словно море в час прилива, неслись на город, заливали вершины сопок, ярким пламенем зажглись на стеклянной крыше разметочного цеха верфи. Тающее облако серой мглы еще некоторое время держалось над черным хребтом, но потом исчезло мгновенно, будто сдутое ветром.

На Морском проспекте в этот ранний час тихо и пустынно. Было слышно, как с листьев деревьев скатывалась роса. Домики в военном городке стояли с закрытыми ставнями.

Однако ни Золотову, ни Евтереву не спалось. Давала себя знать давняя привычка к корабельному распорядку дня.

Евтерев вышел на крыльцо в матросской тельняшке (это тоже была неискоренимая привычка — носить тельняшку вместо нижней рубахи), с кошелкой в руке, потянулся так, что хрустнуло в суставах, полюбовался яркими красками зари, потом направился на огород и долго бродил среди грядок.

Когда он вернулся, во дворе стояли уже Золотов в тапочках, желтой майке и старых парусиновых брюках, а рядом с ним Полина в широком платье.

— Раненько встаете, — сказала она, обращаясь к Евтереву.

— Хозяйством занимаюсь... Любашиных рук дело, — ответил он, с гордостью показывая сорванные огурцы. — Люблю свежие овощи, запах у них, знаете, такой особенный и вкус...

— А у нас что-то не удались в этом году, — сказала Полина и пошла к калитке.

Издали она помахала Золотову рукой. «Совсем переменялся, — подумала Полина о муже, — какая-то жадность к людям и к работе у него появилась. День ему не в день, если нового ничего не увидит, если над книгой не посидит». Утром она старалась вставать совсем бесшумно, но стоило ей опустить ноги на пол, как Терентий Иванович уже садился на постели. Полина, наконец, взяла домработницу, и теперь у нее было больше свободного времени. Вечерами она подолгу сидела рядом с мужем, помогала делать выписки из газет и журналов, а иногда читала вслух статьи, интересные не только Золотову, но и ей самой. Потом она ложилась спать, а Золотов продолжал работать.

«Вот уйду скоро в декретный, займусь им, как полагаются, а то он что-то осунулся за последнее время». С каждым днем приближения родов у нее росло чувство нежности к мужу.

Едва Полина скрылась за калиткой, как Золотов принялся за физзарядку. Он сводил и разводил руки над головой, опускал их вниз, пытался достать до земли, не сгибая колен.

— Давайте-ка посоревнуемся, Михаил Сергеевич, — сказал он.

— «Морская грудь» вот мешает, Терентий Иванович, — засмеялся Евтерев, показывая на живот.

Однако, поставив кошелку на траву, он неожиданно легко согнулся и, упершись ладонями о землю, видимо решив удивить Золотова, резко вскинул вверх ноги. Но «стойка» не получилась — у Евтерева подогнулась левая рука, и он брякнулся на спину.

Золотов засмеялся. Евтерев поднялся, сконфуженно потирая бок.

— Тренироваться надо.

— Михаил, заиграй! — В открытом окне показалась Любаша.

— Доброе утро. Что встали так рано? — спросил Золотов.

— Первый день на работу! — весело ответила Люба. — Иду воспитательницей в детский сад, Терентий Иванович.

— Дело хорошее! — одобрительно сказал Золотов, но, взглянув на Евтерева, замолчал.

## 12

Любаша была готова к буре. За последний месяц она не раз пыталась заговаривать с Михаилом о работе, а он уклонялся от этого разговора, сводя его к пустым шуткам. Тогда Любаша решила поставить мужа перед свершившимся фактом. Случай помог ей. Полина Васильевна, с которой она теперь часто советовалась, познакомила ее с девушкой, ставшей недавно заведующей детским садом. Она и предложила Любе место воспитательницы.

Любаша предложение приняла с восторгом. Возиться целый день с ребятишками — ей это казалось не работой, а удовольствием.

Евтерев вошел в комнату насупившийся и хмурый, сел и сразу же закурил папиросу. Обычно он не курил натощак, и сейчас ему тоже курить было противно, но хотелось, чтобы Любаша обратила внимание на то, как он нервничает. Жена, однако, спокойно расставляла на столе посуду.

— Мне обидно, мне очень обидно, Люба! — сказал Евтерев.

— Тебе обидно, что я буду работать? — спросила Любаша.

Евтерев глубоко затыкнулся и закашлялся.

Любаша ждала.

— Нет, не потому... — Все в Евтереве протестовало против того, чтобы у Любаши были какие-нибудь интересы, кроме интересов их дома. Его любовь к ней была трудной любовью немало прожившего и много пережившего человека к молодому, неустойчивому и, как ему казалось, легкомысленному еще существу. Он боялся ее потерять и потому делал то, что в другие времена показалось бы самому Евтереву нелепым. Он находил разные предлоги, чтобы сузить круг знакомств, прибегал к уловкам, иногда даже смешным, чтобы лишить Любашу возможности бывать где-нибудь без него.

Он видел, конечно, что Любаша скучает и тяготится вынужденным бездельем, пытался увлечь ее домашним хозяйством — завел огород, кур, но все это не могло надолго привлечь Любашиного внимания.

— Не потому, — повторил Евтерев. — Мне обидно, что ты совсем не считаешься со мной: ты ведь могла посоветоваться. Что ж, я тебе не друг?



Любаша посмотрела на мужа недоверчиво.

— Значит, ты обижен только потому, что я ничего не сказала тебе заранее?

— Да. То есть и поэтому... — Евтерев запнулся. Он чувствовал, что это утверждение обернется против него. Но не мог же он сказать ей прямо, что хотел бы обладать, пока она не привыкнет окончательно к семейной жизни, пока у них не появится свой ребенок. А там, если она захочет работать, — пожалуйста, он не возражает. Тогда ее мысли все равно будут вертеться вокруг дома, и уж во всяком случае ей будет не до флирта с молодыми лейтенантами.

— Вот что, Михаил, — сказала Любаша, — если ты говоришь правду, я виновата перед тобой. Но и ты ведь... Сколько раз я пыталась с тобой заговаривать о работе... Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. — Любаша подошла к мужу. — Помирился! — Она протянула ему руку, приблизила свои губы к его щеке.

Евтерев, однако, закрыл глаза и замотал головой. Поцелуй означал сдачу, а он еще сопротивлялся.

— Чего же ты хочешь? — спросила Любаша, отодвигаясь.

— Эта должность тебе не подходит. Ты с ней не справишься. Дети все нервы тебе вымотают. — Эту фразу Евтерев попытался произнести решительно и убежденно.

— Что же, по-твоему, мне подходит?

— Что? — Спасительная комбинация пришла в голову Евтерева. — Будешь служить у меня в интендантстве. «По крайней мере на глазах», — подумал он.

— Нет, не выйдет, — отрезала Любаша как ножом и подумала: «Завтра он непременно мне скажет: «У тебя, Любонька, плохой цвет лица. Куда уж нездоровому человеку из дому выходить...»

— Ты мне верь, — Евтерев заволновался, — я могу сделать это очень быстро...

— Можешь не беспокоиться. — Любаша повернулась к нему спиной и стала готовить себе бутерброд. «Хитрит Михаил, а не умеет. Все у него белыми нитками шито».

«Теперь уже спорить с ней бесполезно... Только рассорился напрасно... А ведь можно было так хорошо помириться», — думал Евтерев.

— Я ведь о тебе беспокоюсь, Люба...

Жена не поворачивалась.

— Ну, пусть будет по-твоему, — сказал он со вздохом.

Любаша бросилась ему на шею, затормошила.

— Ну вот и молодец! Вот и молодец! — Она поцеловала его.

Провожая жену, Евтерев сделал еще одну попытку отсрочить ее выход на работу.

— Может быть, съездишь со мной в колхоз денька на два? Ты ведь ни разу не была. Интересно, право, — сказал он. — А в детский сад уж с понедельника... «У Любашки настроения меняются, как ветер в океане, что-то еще будет через неделю...» — подумал Евтерев.

Однако жена только посмотрела на него строго, и дальше он зашагал молча.

Любаша после размолвки с Михаилом чувствовала угрызения совести. Стоило ей настоять на своем, как становилось тотчас же жаль мужа и уже хотелось уступить ему, чтобы обрадовать его. В последнее время она чувствовала себя в чем-то виноватой перед ним. «Что у меня

было с Гараннным? Ничего не было, да и не могло быть, а все-таки как-то нехорошо...» — думала Любаша. Она слишком любила своего большого и трогательно заботливого мужа. И то, что она не рассказала Михаилу о своей встрече с Гараннным и разговоре, который между ними произошел, тревожило ее.

«Может быть, Михаил прав, — проверяла себя Любаша. — Не справлюсь, оконфужусь. Пойти разве счетоводом в интендантство?»

Она уже хотела вновь вернуться к законченному дома разговору, но в эту минуту ее потянуло вот сейчас же, обязательно сегодня быть в кругу малышей.

— Как я волнуюсь, если бы ты знал, Михаил! — сказала она.

За тенистой аллеей открылся усыпанный песком блестящий, как пляж на солнце, двор детского сада. Дети собирались постепенно. Прощаясь до вечера с приводившими их родителями, тетюшками, бабушками, они бросались к Наташе, окружили ее, дергали за платье, настойчиво привлекали к себе внимание.

Наташа, увидев Евтеревых, всплеснула руками и побегала к калитке.

— Заведующая, — шепнула Любаша.

— Ничего, солидная... — Евтерев не мог удержаться от улыбки.

Он не хотел себе в этом признаться, но шум и гам детских голосов, поблескивающие детские глазенки, заведующая, сама напоминающая большую шаловливую девочку, — все это как-то сразу успокоило его.

— Вот это ваша новая воспитательница — тетя Люба, — сказала Наташа.

Дети смотрели на Любашу с нескрываемым интересом. Стоявший несколько впереди мальчик лет шести, бесцеремонно оглядев ее с головы до ног, сказал авторитетно:

— Ничего, добрая...

— Ну, раз наш Сережа признал, значит, все в порядке. — Наташа обернулась к Евтереву. — Он у них вожак.

Вожак между тем глубоко запустил палец в рот. Любаша легонько хлопнула его по руке, подхватила за талию девочку, успевшую трижды обойти вокруг нее, и через несколько секунд уже играла в мяч с ребятами.

— Находка она для меня. Право, находка! — обращаясь к Евтереву, сказала радостно Наташа.

Евтерев с сомнением покачал головой.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

«Державный» находился в море. В небе одна на другую наплывали тучи, и даже в разрывах между ними не было ни синевы, ни голубизны, а только серая клубящаяся дымка. В каютах воздух был жарким и влажным.

Озеров умылся, который уже раз за этот день смочил волосы, расчесал их и сел за стол. «Ох, и духота», — подумал он, расстегивая воротник кителя. Только что от него ушел Парамонов. Они долго вместе перечитывали

дневник. Базалось бы, секретарь партбюро мог быть доволен собой. Подразделения, возглавляемые коммунистами, становились отличными. Каждый день приносил радостные вести. Торпедисты успешно выполнили сложную боевую задачу. Котельные машинисты сэкономили несколько тонн горючего. Артиллерийские расчеты сократили время подготовки орудий к стрельбе. Обо всем этом проводили беседы агитаторы, писала стенная печать, выпускались листовки-молнии. Целые страницы в дневнике были отведены подробному описанию партийно-политической работы на боевых постах.

— Большой и полезный труд! — сказал Парамонов. Он еще раз задумчиво полистал тетрадь и, отложив ее в сторону, добавил: — А все-таки я хотел бы обратить ваше внимание на одно обстоятельство.

Озеров насторожился.

— Вы задумывались когда-нибудь над тем, в какой боевой части проводите большую часть времени, где лично принимаете в работе наибольшее участие?

— Нет, — признался Озеров, — но, вероятно, в артиллерийской.

— Это видно и по дневнику, — сказал Парамонов.

— Я бывший артиллерист, и...

— Погодите, я все понимаю, Озеров, — перебил Парамонов. — Понимаю и то, что сейчас Гаранину помощь нужна была больше, чем кому-нибудь другому. И сегодня ни в чем не обвиняю вас. Но завтра жизнь может предъявить новые требования. Вы секретарь парторганизации всего корабля, может быть через недолгое время станете замполитом или инструктором политотдела, когда-нибудь его начальником. Значит и штурманское дело, и инженерное, и минное, и электромеханическое должны знать так же, как артиллерийское. Наше время требует, чтобы у политработника были широкие военные знания. — Парамонов прошелся по каюте, остановился у книжной полки. — Пополните свою библиотеку, — закончил он, прощаясь.

Озеров задумался.

После каждого разговора с замполитом у секретаря партбюро возникало недовольство собой. «Сегодня же пойду к Россинскому и Махотину, возьму у них литературу, попрошу, чтобы консультировали меня. Но все ли это?» Он погрыз по школьной привычке кончик ручки, потом раскрыл дневник и записал:

«Я должен видеть будущее людей. Надо открыть перспективы в политработе перед Донцовым. Надо помочь Ташыбаеву стать морским офицером»...

Дверь каюты распахнулась.

— Можно? — На пороге стоял Гаранин.

— Заходите, Сергей Никитич.

Гаранин вошел и сел на койку.

Он не в силах уже был таить в себе растущее чувство к Любаше, понимал, что все более запутывается, не умея разобраться до конца в своих мыслях, измучился от постоянного противоречия между выводами, к которым приходил, и поступками, которые совершал.

«Решил забыть Любашу, а рисую ее портреты по вечерам, решил избегать ее, а не перестаю мечтать о встрече», — думал Гаранин.

В последнее время он сблизился с Озеровым. «Алексей Семенович мой друг, секретарь партбюро, значит, и понять меня может и посоветовать должен».

Озеров бросил взгляд на усталое, будто осунувшееся лицо Гаранина.

— Худо спал?

Гаранин оставил этот вопрос без внимания.

— Скажи мне, Алексей Семенович, что должен делать человек, полюбивший замужнюю женщину? — Гаранин наклонился вперед. Пальцы его сжимали край койки.

— Ты о себе?

— Да.

— Плохо.

— Сам знаю, что плохо.

Озеров с тревогой посмотрел на товарища. Таких вопросов ему еще не приходилось решать никогда. «Что же сказать ему — сочувствовать? Читать прописную мораль? Но разве этого он ждет? Сказать ему — брось, забудь? Но разве я мог бы забыть свою Нину?» Озеров поднялся, снял с переборки портрет жены. Любовью к ней ограничивался его жизненный опыт в этой области. Он понял, что для того, чтобы понять чувство другого человека и сказать ему самое важное, он должен думать и говорить о своем чувстве.

— Ты знаешь Нину, Сергей Никитич?

— Знаю. Но при чем тут она?

— Я женился только год назад. Она веселая, красивая, огонь живой... Многим нравилась, выбрала меня, за что уж, не знаю. Но верно, что навсегда.

— А если бы выбрала другого?

— Тоже бы навсегда. Я в этом убежден...

— И ты сразу же забыл бы ее?

— Нет, не забыл бы. — Озеров отложил портрет. — Только не стал бы мешать ее счастью. Себя бы не унизил, ее оскорбить не посмел бы. — Озерову на минуту представилось, что то, о чем он говорил, случилось в действительности. Он помрачнел. — Я бы, знаешь, что... работал бы, наверно, с утра до ночи. Сделал бы что-нибудь такое очень хорошее, чтобы и потом, когда новое чувство придет, светлой была память о ней... Говорят, поэты создавали великие произведения о неразделенной любви.

Гаранин встал с койки и подошел к иллюминатору. Пологие волны убежали вдаль к серому небу. В гуще туч на горизонте зажглась и погасла фиолетовая молния.

— Бывает по-разному, — сказал Гаранин.

— Ты говоришь о неудачных браках?

— Да. Ведь он или она могут ошибиться.

— Так бывает, — согласился Озеров. — Но тогда тем более долг честного человека — не становиться на их пути. А ты убежден, что она несчастлива?

— Я не уверен в этом. Но разве вообще замужней женщине новое чувство заказано? Сердцу, говорят, не прикажешь.

— Прости, — сказал Озеров, — но я думаю, что женщины, не умеющие сделать твердого выбора, за редким исключением не стоят большой любви. Сегодня они с мужем, завтра с тобой, а потом найдется и третий... Но кто же она?

Гаранин приложил лоб к холодному медному ободку иллюминатора. «Как это все просто и ясно, когда рассуждаешь, и как сложно в жизни», — подумал он. Потом повернулся к Озерову и, грустно улыбнувшись, сказал:

— Не все ли равно?.. Ничего такого у меня с ней не было. Я вот слушал, как ты говорил о своем большом

чувстве, и мне показалось, что мое, наверно, маленькое и, может быть, я просто сам его выдумал...

— Может быть... Этого, наверно, сразу не узнаешь. — Озеров потер рукой висок. — Только какие бы у тебя чувства ни были, помни всегда, Сергей Никитич, что ты коммунист. — Он внимательно поглядел на Гаранина и спросил:

— Что же ты решил?

— Не легко мне, понимаешь, отказаться от надежды. А все-таки в чем-то главном ты прав.

«Теперь мне с него глаз нельзя спускать», — подумал Озеров, когда Гаранин ушел.

## 2

Анна танцевала впервые после смерти мужа. Оркестр на маленькой эстраде играл вальс. Она чувствовала только уверенную и сильную руку Высотина и, подчиняясь легким нажимам этой руки, кружилась, едва касаясь паркета. Перед ней проплывали огни люстры, фигура пианиста, склонившегося над роялем, цветы на столиках, глянцевитые листья искусственных пальм, похожие на развернутые веера, чьи-то мундиры, кортики, запахи духов, в памяти звучали полузабытые слова вальса: «С берез неслышен, невесом слетает...» И еще что-то: «Любили мы... грустили мы...»

Вальс оборвался. Анна залпом выпила бокал холодного, со льда, шампанского и счастливо сказала:

— Хорошо!..

— Мне всегда хорошо с вами, Анна Ивановна, — ответил Высотин.

Они сидели в ресторане офицерского клуба. За окнами качалась, как занавес, густосиняя мгла летней ночи. Все казалось Анне необычным — и ярко освещенный зал, и музыка, и доносившийся издали мерный гул прибоа, и, главное, оживленное и веселое лицо Высотина.

...После похода Высотин явился к Анне с цветами для нее и огромным пакетом игрушек для Сережи.

— По какому поводу нагрузились летом, как дед Мороз? — спросила Анна, пожимая ему руку.

— Подарки от морского царя, — с шутливой серьезностью ответил Высотин.

Сережа, едва пробормотав «спасибо», немедленно распаковал сверток. В нем оказался большой, совсем как настоящий, пароход, которому суждено было, несомненно, стать флагманом эскадры детского сада. Обернувшись к Высотину, Сережа неожиданно спросил:

— Про морского царя вы вправду или понарошке, дядя Андрей?

Высотин отвечал на все Сережины вопросы по морскому делу всегда так серьезно и обстоятельно, что пользовался у мальчика непререкаемым авторитетом. Скажи дядя Андрей, что морской царь и в самом деле существует, Сережа не только бы сам поверил, но и по праву вожака утвердил бы эту истину как закон среди ребят детского сада.

Однако, к удивлению Сережи, на этот раз дядя Андрей только рассмеялся.

— Я сам и есть морской царь, — сказал он. — Разве не узнал, Сережа?

Высотин подхватил мальчика, высоко подбросил его в воздухе — раз, другой, третий. У Сережи глазенки за- сверкали от удовольствия.

Анна с улыбкой смотрела на Высотина. Столько было в его движениях спокойной уверенности, ласки, что ее материнское сердце не испытывало тревоги за сына.

Опустив мальчика на пол, Высотин вместе с ним принялся рассматривать корабль. Они изучили детально пароход «Мойдодыр», приводившийся в движение большим железным ключом, потолковали с невозмутимым видом о его гордениях и таях, мачтах и кубриках, потом Сережа вышел, чтобы провести в ванной «ходовые испытания» нового корабля.

Анна пристально смотрела на Высотина. Она еще никогда не видела его таким.

— Вы сегодня как будто заново родились, Андрей Константинович, — наконец сказала она.

— Я всегда нес вам, как другу, свои заботы и тревоги, а сегодня принес свою радость. Примете? — спросил он.

— Ну, конечно, рассказывайте.

— Двинулось, понимаете, двинулось, Анна Ивановна, — сказал Высотин. — Вот, знаете, как лед на реке. Сначала казалось — ничем не растопишь, потом затрепал, а теперь понесло, не удержишь, все на своем пути сметает. — Он стал рассказывать ей о Парамонове и его идее борьбы за отличный корабль, о песне, родившейся на корабле, о Плакуше, принявшем морское крещение, о Донцове, Стебелеве, Зеленцове... Рассказывая и видя живой интерес в ее глазах, он особенно глубоко почувствовал, как важно для него то, что произошло на «Державном».

— Анна Ивановна, милая, — сказал он, сам удивляясь той смелости, с какой обратился к ней, — мне очень хочется отметить этот день. — Пойдемте погуляем, зайдем в офицерский клуб, потанцуем, может быть?

Анна уже очень давно не проводила подобным образом своих вечеров и привыкла думать, что вообще не любит шумного веселья. Она сначала заколебалась, но потом, подумав, что своим отказом огорчит Высотина и даже, может быть, обидит его, согласилась.

— Была не была, пойду, — сказала она. — За Сережей до Наташиного прихода попрошу соседку присмотреть.

Анна вышла переодеться. Она открыла шкаф и принялась перебирать платья, доставая то одно, то другое и мысленно примеряя их, но, поймав себя на том, что делает это, желая понравиться Высотину, смутилась и надела первое попавшееся.

...Зал офицерского клуба постепенно заполнялся. Многие из приходивших были знакомы Анне. Они бывали у нее на верфи, встречались с ней на проводившихся по ее почину совместных совещаниях кораблестроителей и моряков. Некоторые из них подходили к столику, здоровались с Анной и Высотинным, приглашали ее танцевать.

Анна танцевать с ними не хотелось, но отказываться было неудобно, и она предложила Высотину выйти на балкон.

На едва освещенном балконе они стояли рядом, молча, опершись локтями о перила. Под ними каменистая земля обрывалась, как в бездну, и там в непроглядной тьме рокотал прибой. Очертания крыш стоящих рядом домов,

вершины деревьев, поднявшихся над скалами, и сами скалы, сливаясь с воздухом, скорее угадывались, чем различались во мраке, и только видна была петляющая от террасы к террасе все ниже к морю деревянная лестница... Волны, разбиваясь о камни, фосфоресцировали, и казалось, что под толщей воды кто-то тяжело дышит, возится, ворчит, царапает лапами гальку, стараясь выбраться на берег. И, едва слышимый в этом гуле прибоя, где-то далеко загредел гром.

Тревожная предгрозовая погода вызвала у Анны мысль о необычности сегодняшнего вечера; она ощутила неясное, но все нарастающее в ней волнение.

«Что же это?» Анна перегнулась через перила и посмотрела вниз. Теплой сыростью веяло от моря и земли. Анна, показав рукой на океан, сказала:

— Смотришь, и захватывает дыхание, и оторваться не можешь.

Высотину передалось сдержанное волнение Анны; он прислушался к раскатам грома и сказал тихо, будто отвечая собственным мыслям:

— Бывает так с человеческим чувством, Анна. Думаешь, рассуждаешь, медлишь — и вдруг отдаешься какой-то силе, и захочется броситься вот так, очертя голову, как с этого балкона, в горящее море... — Он склонился и поцеловал лежащую на перилах руку Анны.

Анна вздрогнула и будто очнулась.

— Вернемся в зал, — мягко отстраняясь, сказала она.

В зале гремела музыка. После полутьмы балкона ослепительным казался электрический свет. Искры рассыпались в хрустальных подвесках люстры, желтел осыпанный яркими бликами паркет. Анна невольно закрыла ладонью глаза, потом провела ею по лицу. Щеки у нее горели: «Что это со мной?» Анна посмотрела на Высотина и встретилась с его настойчивым и немного встревоженным взглядом. «Любит! — Она услышала, как стучит ее сердце. — А я?»

Оркестр играл мазурку. Знакомый офицер подошел к Высотину и Анне.

— Разрешите...

— Да. — Ей не хотелось сейчас думать, не хотелось разбираться в своих переживаниях. «Пусть будет просто весело». Анна заскользила по паркету. «Хорошо ведь, хорошо...» Она наслаждалась легкостью своих движений, словно рождавшихся из стремительного ритма мелодии. И ее партнер и люди, сидевшие за столиками и танцевавшие рядом с ней, казались ей особенно милыми. И у нее появилось даже такое ощущение, будто все они любят ее и радуются вместе с ней. «Совсем как в студенческие времена».

Танец кончился. Анна возвратилась к Высотину, все еще стоявшему у двери, ведущей на балкон. Голова у нее чуть-чуть кружилась, и она, доверчиво опершись на его руку, сказала:

— Пойдемте, пора домой.

В ночной тишине пустынной улицы гулко раздавался каждый шаг. Тучи стлались над домами. Влажный ветер дул порывами. Освещенные фонарями, из тьмы выступали ветви деревьев, их тени скользили по тротуару из стороны в сторону.

«Если бы мне знать, что у тебя на сердце», — думал Высотин, идя рядом с Анной.

— Как сегодня неспокойно в природе, — сказал он, — будто все чего-то ждет...

Анна взглянула на небо — словно в черном колодце одиноко блистала звезда, затем опустила глаза на узорчатые тени, мечущиеся под ногами.

— Я люблю предгрозье, — сказала она. — А вы?

— Я нет, лучше уж гроза...

«Он все ждет ответа, но мне просто радостно, и я ничего еще не могу ему сказать», — подумала Анна.

Высотин, словно понимая, что происходит у нее на душе, стал шутливо предлагать ей, как главному инженеру верфи, проконсультировать «судостроителей» с «Державного», задавшихся целью создать образцовую модель своего корабля. Анна, однако, слушала плохо.

Вскоре они подошли к дому. На одном из копей железной ограды виден был похожий на истребавшийся веник, видимо давным-давно оставленный здесь букет цветов. Анна вспомнила о Кипарисове. «Странный человек...»

— Спасибо за чудесный вечер. Жаль, что он быстро окончился. — Она протянула руку. — Уже, наверное, за полночь.

Ему не хотелось вот так сразу расставаться с Анной у порога, и он попросил разрешения взять у нее сейчас книги по кораблестроению, которые она ему обещала давно.

Они медленно поднялись по лестнице и вошли в квартиру.

Картина, которая предстала перед ними, заставила Анну забыть обо всем. Сережа в одной рубашонке сидел в кресле и тихо плакал. Увидев мать, он бросился ей на шею и прижался всем телом, так, будто его хотели оторвать от нее.

— Что с тобой, Сережа, что с тобой?

Старушка-соседка, стоявшая посреди комнаты, растерянно развела руками и сказала:

— Ни за что мальчонка без матери спать не ложится, а тут еще Наталья Ивановна в комсомольском райкоме сегодня за полночь заседает.

Анна никогда до сих пор не оставляла Сережу вечером, если не было Наташи, но и в тех случаях, когда сестра была с ним, Анна, задержавшись на каком-нибудь заседании, стремглав летела домой. Сегодня она чувствовала себя виноватой. Осыпая Сережу поцелуями, глядя его по голове, она стремилась, как могла, успокоить его. Ни мать, ни сын никого не замечали.

Высотин хотел было подойти, чтобы помочь Анне. Но едва сделал шаг, как Сережа крикнул:

— Уйди, дядя Андрей, уйди!

Высотин еще раз взглянул на Анну, почувствовал, что оставаться ему дольше нельзя и, быстро попрощавшись, ушел.

Сережа заснул у Анны на руках. Она уложила его в постель и вышла в столовую.

Вскоре вернулась Наташа. Что-то напевая себе под нос, она направилась прямо в ванную и оттуда пришла уже с корабликом в руках.

— Сережа там оставил. А кто подарил? — спросила она сестру.

— Андрей Константинович.

— Значит, приходил?

— Значит, приходил.

Наташа знала, что манера отвечать ей так, короткими, будто обрубленными фразами, появлялась у Анны, только когда она была очень занята, либо очень расстроена.

— Может быть, выкупаешься, Аннушка, есть горячая вода.

Анна кивнула головой.

— Странно, как все в жизни получается, — сказала она.

— Ты о чем это? — спросила Наташа, подавая сестре губку и мыло.

— Так, ни о чем.

Наташа по выражению лица сестры и по тону ее голоса поняла, что спрашивать сейчас больше ничего не надо, и вышла из ванной.

Пока Анна мылась, одевалась и причесывалась, Наташа положила на письменный стол стопу чистой бумаги, заменила перо в ручке, зажгла над стойкой с чертежной доской лампу с металлическим зеленым абажуром. Потом включила кофейник.

Наташа знала, что когда у Анны бывало тяжело на душе, она любила работать ночи напролет. Выпивая время от времени несколько глотков крепкого кофе, Анна часами не отрывалась от чертежной доски.

Вот и сейчас, выйдя из ванны, она листала тетради с записями, просматривала книги по кораблестроению с десятками закладок, перебирала прямоугольные карточки из твердой ватманской бумаги в узком деревянном ящичке, стоявшем перед ней. Там в строгом порядке были размещены выписанные ею из справочников формулы расчетов.

Ей нужно было настроиться на рабочий лад, но это никак не удавалось сделать. Анна поднялась, походила по комнате, вошла в детскую, постояла, прислушиваясь к ровному дыханию сына, наклонилась над ним, глядя на длинные ресницы, пухлые, шевелящиеся во сне губы.

«Сережа, единственный мой», — это было все, что у нее осталось от первой любви, от покойного мужа. «Покойного...» Давно ли Анна даже мысленно боялась произносить это слово, давно ли перестала думать о Петре, как о живом, давно ли острая душевная боль сменилась спокойной грустью? Анна сама не заметила, как ее чувство к мужу постепенно отодвинулось в прошлое. Но вот сейчас здесь, у постели сына, ей показалось, что новую семью создать уже невозможно. «Как плакал сегодня Сережа... Разве он примет чужого человека как отца? Разве я могу...» Анна решительно вернулась к столу.

Она стала напряженно думать о «своем корабле», идущем по штормовому океану, вызвала в воображении его столько раз вырисовывавшиеся перед ней очертания и, наконец, почувствовала, что тревога оставила ее.

...Анну Субботину еще в институте окрестили мечтательницей. Была у нее одна характерная особенность. Она училась и отвечала на зачетах, как все студенты, ничем не отличаясь от других, когда речь шла о вещах известных, о вопросах, наукой решенных. Но она никогда не могла ответить, хотя бы так и значилось во всех учебниках: «задача неразрешима», «теорема недоказуема», «проблема, перед которой наука еще бессильна». В этих случаях Анна начинала говорить о перспективах, о буду-

щем решении проблемы, как бы туманно оно ей ни представлялось.

— Это чистая фантазия, — останавливал ее, бывало, профессор. — Мы не изучаем на студенческой скамье сказок.

— Хотя бы и сказка, — упрямо возражала Анна, — не будь у русского человека сказки о ковре-самолете, он бы, может быть, не стал и первоизобретателем аэроплана... — Анна приводила один за другим примеры, подтверждающие ее мысль.

...На верфи, строя самые современные суда, Анна постоянно чувствовала неудовлетворенность.

Десятки сложнейших проблем стоят перед судостроителями. Как увеличить грузоподъемность судна, не меняя его габаритов? Как увеличить скорость хода при прежней мощности двигателей? Как при тех же условиях добиться нужной остойчивости, непотопляемости?

В большой зеленой тетради у Анны записаны требования и мечты моряков. Тут есть и точно сформулированные, намечающие путь к решению больших вопросов, указания Серова, и короткая фраза Светова: «Скорость — прежде всего», и деловитые, касающиеся важных частных замечания Золотова, и мысли Высотина о постепенном гармоническом развитии всех качеств, характеризующих современное судно.

Анна создала в своих мечтах судно — красивое и большое, настоящий пловучий город, социалистический город, где каждому пассажиру предоставлены все мыслимые удобства. Этот лайнер должен был обладать и голубой лентой — символической принадлежностью самого быстрого корабля в мире.

Конечно, Анна понимала, что это пока только ее фантазия. Но она часто в тихие ночные часы работала над теми или иными деталями, которые удовлетворяли бы требованиям, предъявляемым ею к идеальному судну, — от расположения переборок, системы якоря до вероятных принципов действия машин.

Иногда отдельные мысли имели чисто практический характер, и Анна, приходя на верфь, вносила изменения в проекты строящихся судов.

Но и в тех случаях, когда ночные расчеты в конце концов оказывались неточными, Анна не считала свой труд бесплодным — он приучал ее к постоянной работе мысли, без которой нет подлинного инженера.

...Анна сейчас снова возвратилась к проекту Ташыбаева, к тем замечаниям, которые высказал ей Высотин. Она анализировала различные групповые и автономные системы расположения водоотливных средств для «своего корабля». «Ташыбаевский принцип» если и не совершенен, то, безусловно, верен и лучше старого... Анна встала, потянулась и медленно пошла в спальню.

Дверь была полуоткрыта, там горел свет ночника. Наташа спала поперек кровати. «Смотрела в щелочку, как я работаю, так и заснула», — тепло подумала Анна. Она сбросила халат и, сильными руками приподняв Наташу, положила ее голову на подушку. Наташа проснулась.

— Ложисься, Аннушка?

— Ложусь. Спи, спи, Наташка.

Но та уже села на постели.

— Нет, ты мне все-таки должна сказать, что у тебя произошло с Андреем Константиновичем?

— Ничего, кажется, особенного не произошло, Наташенька, просто у твоей старшей сестры бывают свои слабости, которые трудно преодолеть.

Наташа смотрела на нее, ожидая разъяснений и подробностей, и Анна, подумав, добавила:

— Какой-то прилив, Наташа, у меня сегодня на душе был. Я еще сама не разобралась. Спи, спи...

По крыше и оконному карнизу забарабанил дождь. Собравшаяся всю ночь гроза разразилась под утро и закончилась ливнем.

Анна закрыла форточку и легла. Сначала ей казалось, что спать не хочется совсем, что не стоило и ложиться, потом сознание начало куда-то проваливаться, мелькнул силуэт «ее корабля», летящего по волнам; на его палубе видны были матросы, а на капитанском мостике она узнала склонившегося над компасом Высотина. «Как он попал сюда? Ведь он военный человек?» — подумала она. «В первый раз сегодня он назвал меня просто по имени — Анна», — была ее последняя мысль.

### 3

Солнце переливалось с волны на волну, и бухта казалась сверкающей долиной. На заржавленной швартовой бочке, качающейся посреди гавани, дремал сизый баклан, похожий издали на узкогорлый кувшин.

Стебелев грыз абрикосовые косточки, равнодушно оглядывая бухту.

Поросшие лесом острова, базальтовые скалы, подернутые синеватой дымкой, будто висели в воздухе. Между ними и водой лежала полоска света, и казалось, что острова уплывали в океанскую даль.

Утром Головенченко поручил Стебелеву окраску борта. Матрос охотно взялся за дело. Что может быть лучше, чем висеть у борта корабля на доске, называемой «беседкой», и мягкой кистью растирать блестящую жирную краску?

Внизу плескалась морская вода, в ее зеленоватую глубину уходила черная полоска кила. Ветер со всех сторон обдувал Стебелева, доска вздрагивала при каждом движении, и нужна была большая сноровка, чтобы наводить, как говорят, правильный колер и глянец.

Работа спорилась, на сердце у Стебелева было спокойно. «На «Державном» служить хорошо», — не раз уже приходила к нему эта мысль. Правда, никто из старших по службе не давал ему побрякки, но зато, не в пример службе на «Дерзновенном», никто и словом не обмолвился о его прежних проступках, будто их и не было никогда.

Головенченко как-то сказал: «Старайся, хлопец, знатным моряком будешь!»

В первые дни Стебелев, правда, обижался на Головенченко, когда тот назначал его отбивать ржавчину с якорь-цепи или чистить картошку на камбузе, считая, что этим ущемляется его самолюбие, но потом убедился, что боцман одинаково относится ко всем подчиненным.

Стебелев замечал, что у него все чаще появлялось чувство симпатии к Головенченко. «Придирчивый, но справедливый человек», — решил он. Вот сейчас он с удовольствием подумал о том, что скоро явится к боцману и доложит о досрочном выполнении задания. «Похвалит,

наверно, но заставит еще что-нибудь делать... Дотошный, дьявол», — последняя мысль была беззлойной.

В небе послышался гул мотора. Стебелев запрокинул голову и сощурился от бьющего в глаза солнца. Низко над гаванью летел пассажирский самолет. Красноезвездные его крылья казались серебряными. Постепенно самолет начал набирать высоту и скрылся где-то в белых облаках над тайгой.

«Куда бы он мог лететь? Далеко, далеко...» Стебелев следил взглядом за самолетом, продолжая машинально водить кистью по борту. Мысли его перенеслись к тому времени, когда он, отслужив срок флотской службы, вернется домой. Представился Стебелеву широкий, вольный Енисей, огромные плоты, плывущие по реке. Тяжела профессия сплавщика, да почетна и доходна. Приятно, когда кончится сезон, притти за расчетом в контору леспрохоза. Будет же когда-нибудь так: встретится он с девушкой, которая ему полюбится, которой и он будет мил... «Не век же ходить бобылем...» Справят они свадьбу по сибирскому обычаю, раздольно, с баяном, с лихой тройкой. В новом пальто, новом костюме, смушковой шапке пойдет он с невестой в загс. Не прочелыга какой-нибудь, а уважаемый, знающий себе цену человек!

Сверху послышался голос боцмана:

— Стебелев, как с окраской?

Стебелев выбрался из беседки и поднялся на палубу; можно было немного передохнуть.

— Все в порядке, товарищ главный старшина! — Ему захотелось пошутить; дружелюбно улыбнувшись боцману, он добавил: — Мажу помаленьку!

— Вижу, что мажете... — В голосе Головенченко слышалась суровость. Он указал рукой на борт корабля. Стебелев поглядел, куда указывал боцман. Плохо растертая краска неравномерно стекала; на швах корпуса она застывала толстыми рубцами — на этих местах через некоторое время всплунут пузыри, и тогда краска от воды и солнца зашелушится и поползет тонкими, хрупкими ленточками; кое-где виднелись ворсинки и следы от кисти, а в одном месте бурым пятном просвечивала грунтовка.

— Перекрасить! — приказал коротко боцман.

Стебелев стоял с кистью в руке, плотно сжав губы. Всею виной было то, что он замечтался. Теперь дела уже не поправишь. Стебелев знал, что Головенченко не даст дополнительно ни грамма краски, ни клочка ветоши. А вечером краснойбай Мошкин, с которым Стебелев начал последнее время дружить, едко посмеется над ним.

— Нехватит материала... — сказал он.

Боцман, свесившись над бортом, раздумывал. Он посмотрел на ведро с краской, на помрачневшее лицо Стебелева и негромко сказал:

— Повторите приказание!

Наступила пауза. Слышно было, как гремела бадьями работающая в бухте землечерпалка, тархтел мотор проходящего катера, кто-то, кажется Мошкин, на верхней палубе сказал: «Стебелеву опять плея под хвост попала!» Стебелев с трудом переборол накипавшее раздражение, сознавая, что дальнейшее пререкание грозит перерасти в невыполнение приказа.

— Есть перекрасить! — медленно процедил он сквозь зубы.

Боцман отошел от борта.

Сладкие абрикосовые косточки не казались уж такими сладкими. «П то ладно, что боцман еще не наказал», — подумал Стебелев. Он бросил скорлупу в обрызганный окраску борта, но подошел Вася Мошкин, размахивая иллюстрированным журналом.

— Григорий, полюбуйся, экая кроха-дивчина, оказывается, знатный лесоруб, тысячи кубометров сверх плана нарубила. И, пожалуйста, центральная пресса дает ее фотографию!

— Дай-ка! — Стебелев протянул руку. Он увидел на фотографии чем-то давно знакомое круглое девичье, с искоркой в глазах лицо. «Неужто это Дуняша?!». На девушке был модный, с рукавами-буфами костюм, над кармашком — комсомольский значок. «Вот ты какая стала, Дуняша! — думал Стебелев, рассматривая страницу журнала: — Вся страна тебя знает...»

— Что, твоя знакомая? — спросил Мошкин, заметив волнение Стебелева.

— Вместе в детстве воспитывались, дружили...

— Вон оно что?! Да сейчас она на тебя и не посмотрит. — Мошкин свистнул. — Ты — матрос, а она — уважаемый человек...

— Что же, по-твоему, матрос не уважаемый человек?

— Смотря какой матрос! Ты, например, еще не совсем уважаемый... — Мошкин, не договорив, поспешно отступил назад. Стебелев шагнул к нему, сжав кулаки.

— Ну, ну!.. Не сердись, — сказал миролюбиво Мошкин. — Надо же понимать, когда правильно критикуют... Мне Донцов поручил предупредить тебя, что сегодня в кубрике будет открытое комсомольское собрание. Придешь?

— Я не комсомолец и не отличник...

— Так потому ж и приглашаем, чтобы ты стал и отличником и комсомольцем...

— Где уж мне! Ну, ладно, подумаю, — сказал Стебелев, увидев искреннее огорчение на лице Мошкина.

— Ты скажи прямо, — не унимался Мошкин. — Не имеешь права от других отставать, когда у тебя есть все возможности и талант...

— Какой это еще «талант»?

— У каждого он есть... Ну, не талант, может быть, а такая хорошая черточка; вот ее и нужно в себе развивать — так мне Донцов говорил.

— Я сегодня с боцманом чуть не пререкался, — сказал Стебелев.

— Так Головенченко при мне, когда Донцов список актива составлял, сам попросил, чтобы тебя на собрание особо пригласили. Это за честь считать надо...

Стебелев, пожав плечами, поглядел на бак, где с якорь-цепью и стопорами возился боцман. Побывать на комсомольском собрании ему хотелось. В комсомол вступить он собирался несколько раз, но до службы на флоте как-то не успел, а на службе, как говорил Петров, «не в ту сторону отличался».

— Ладно, приду, — сказал Стебелев и шагнул к борту, где висел штурм-трап.

— Погоди, — спохватился Мошкин, — верни-ка журнал. Мне письмо твоей знакомой сочинять надо, пусть поделится своими достижениями.

— Успеешь, — сказал вдруг весело Стебелев, засунув журнал в карман, перебрал ноги через леера и спустился за борт.

Вначале перекраска борта шла медленно. Тяжело было растирать успевшую загустеть краску. Ворсинки кисти прилипали к ней, как к смоле. Но чем тяжелее становилась работа, тем упрямее делался Стебелев. Он брал на кисть из ведра немного свежей краски, стараясь не пролить ни одной капли, и быстрыми, точными движениями наносил ее на металлический корпус корабля. Работая, он тихо напевал. Начавшаяся было боль в кисти руки незаметно прошла. Движения стали плавными и легкими. Сплошным блестящим глянцем лежала теперь краска, хоть смотришь в нее, как в зеркало. Солнечный свет, отражаясь от воды, играл на окрашенной поверхности борта, усиливая свежесть и блеск.

Задолго до сигнала «Окончить работы и занятия» Стебелев, молодецкато подтянувшись, доложил Головенченко о выполнении задания.

Боцман довольно сказал:

— Добро, — и, помолчав, добавил: — Замполит вас вызывает, идите к нему.

Когда Стебелев вошел в каюту замполита и доложил о своем прибытии, Парамонов встал и, поздоровавшись за руку, сказал:

— Люди, которые интересуются вашей судьбой, не знали вашего точного адреса и поэтому обратились к командованию. В конверте на имя командира было вложено вот это письмо. — Парамонов взял со стола листок бумаги и подал Стебелеву.

«Уважаемый Гриша! — читал Стебелев. — Коллектив Енисейского детского дома, в котором ты воспитывался, организует к годовщине Великого Октября витрину «Наши выпускники». На этой витрине мы хотим поместить фотографии наших выпускников с краткими сведениями о них, их работе, службе, специальности и месте жительства. Мы надеемся, что ты поддержишь наше начинание и напишешь о себе.

Карточки наших выпускников будут украшать наш детский дом, а ваши дела послужат примером, достойным подражания.

Не забывай, Гриша, что ты являешься членом большой семьи и всегда будешь у нас желанным гостем. Приезжай к нам в отпуск!

По поручению директора и воспитанников:

*Иванова, Крюкова, Варламова.*

Председатель детского совета *Федя Болдырев*».

«Тетушка Варламова, Иванова — хорошие сердечные люди! А Федя Болдырев! По правде сказать, забыл я о вас! Чем же я порадую?» — так думал Стебелев, и листок в его руке дрожал. Ему было радостно и горько. Воспоминания нахлынули на него. Он увидел большой бревенчатый, окруженный высокими соснами дом над рекой. Ребят, играющих на зеленой поляне. Себя среди них — коренастого, неуклюжего, загорелого...

...Телько что прошел дождь, и на краю поляны образовалась лужица. Из спичечной коробки он смастерил кораблик и, болтая ногой, гнал его по воде. Рядом стояла Дуняша и ждала, когда наступит ее очередь так же болтать в воде ногой и гнать кораблик...

Вспомнился день, когда он покидал детский дом. В большом зале было торжественно и нарядно. Перед портретом товарища Сталина стояли цветы. В первом ряду сидели выпускники. Тетушка Варламова коротко сказала напутственное слово. Она поминутно подносила к лицу платок, и все видели, что она вот-вот расплачется. Потом каждому выпускнику вручили подарок. Подарки привезли шефы — рабочие металлургического завода — из города. Дуняше вручили голубенькое платье и косынку; она повязала косынкой голову и побежала в спальню переодеваться. Худенькая, робкая... «Какой она стала теперь?». Он снова вспомнил портрет на обложке журнала. Стебелеву тогда достались сапоги и бритвенный прибор. Бритвой он был очень доволен, хотя на подбородке и щеках у него еще не было ни одной волосинки. Вечером с Дуняшей ходили к реке прощаться, потом заглянули во все уголки детского дома...

Перед затуманенными глазами Стебелева проходили одна за другой картины его детства.

— Что же, товарищ Стебелев, вы думаете ответить своим друзьям и наставникам? — спросил Парамонов. — До праздника Великой Октябрьской социалистической революции еще почти три месяца...

— Пусть это письмо пока полежит у вас, — сказал тихо Стебелев, — сейчас я не могу на него ответить.

— Я понимаю вас... Но я думаю, что скоро вам будет о чем написать.

После ужина, когда Стебелев, переодевшись, вошел в кубрик, собрание еще не началось, но все места были уже заняты. В нерешительности он остановился в дверях.

— Садитесь с нами, Стебелев! — услышал он веселый, звонкий голос Ташыбаева. Стебелев втиснулся между Ташыбаевым и Мошкиным. Ощущая сквозь фланелевку тепло их плеч, радостно подумал: «Хорошие ребята!»

#### 4

Дорога переваливала с сопки на сопку, извивалась меж кремнистых отрогов, заросших высокими лиственницами и белокорыми пихтами, качающими на ветвях продолговатые шишки. Шумели листьями дубы, клены, и между их темными стволами виднелись тонкие и стройные березы.

Внизу, под обрывом, пенилась, бурлила на камнях стремительная речка. Над ней кружился ястреб, высматривая добычу. Вдали, там, где русло становилось шире, а течение спокойней, пара кроншнепов вылавливала что-то из воды своими кривыми клювами; дальше растянулась долина, сплошь покрытая густой травой и цветами: желтыми лилиями, фиолетовыми присами...

Походная колонна матросов «Державного» все более растягивалась. Жарко припекало солнце. Влестели штывы над плечами матросов, слышался мерный гул шагов, бренчали котелки...

Озеров шагал впереди колонны. Он, страстный альпинист, не чувствовал усталости; ощущение необычайной легкости не покидало его. Не задумываясь, он мог бы взбежать на любую кручу.

Поход начался на рассвете. После первого привала прошли уже около десяти километров.

Озеров взглянул на часы и остановился, пропуская мимо себя колонну.

Первым прошел боцман; пот катил с него градом, лицо побагровело, усы намокли и обвисли. Дышал он тяжело, но шагал, гордо подняв голову, выпятив грудь. Озеров посмотрел на него встревоженно: «Слишком полнокровен боцман. Лучше было бы оставить его на корабле, как советовал Плакуша. Да ведь обиделся, когда ему об этом намекнули».

За боцманом шла первая четверка; на правом ее фланге — Петров, далее Донцов, Стебелев. Все в ногу идут, и все по-разному. Петров будто ножки циркуля сводит и разводит, лицо сосредоточенное и носом шмыгает; Донцов, улыбаясь, чеканит шаг; Стебелев, хоть его походка и кажется на первый взгляд по-медвежьи неуклюжей, идет спокойно и ровно, в нем опытный глаз Озерова сразу узнает неутомимого ходока. «Вообще со Стебелевым дело понемногу налаживается, — думает Озеров. — Как охотно взялся он подготовить беседу о природных богатствах Сибири! Говорит не очень складно, а все же матросы довольны остались».

Промелькнуло сосредоточенное скуластое лицо Ташыбаева; круглое — Зеленцова. «Хорошо еще, бодро идут морячки, оставших нет».

Озеров по боковой тропинке снова обогнал колонну. Матросы медленно поднимались на вершину крутой сопки; ноги цеплялись за пожелтевшие лозы ползущего по земле дикого винограда; начинались густые заросли орешника. Озеров вытащил из кармана карту, проверил направление по компасу и свернул вправо. Остались позади белокорые пихты, березы с будто покрашенными стволами, на которых лохмотьями висела коричневатая береста. Теперь пылится меж голыми скалами узкая дорога, проложенная, как читал об этом Озеров, еще более тысячи лет назад древними жителями этого края, когда-то сильным, теперь исчезнувшим навсегда народом.

Матросы цепочкой шли по узкому карнизу хребта, из-под ног у них срывались и катились вниз камни. Из расщелин в скалах сочилась вода; корни деревьев, как змеи, лежали на каменной осыпи, уползали в трещины. Дорога неожиданно обрывалась, дальше, казалось, пути нет. Впереди чернел провал, холодом и сыростью тянуло из него. На дне темного ущелья, весь белый от пены, несся горный поток.

— Стой! — скомандовал Озеров. — Вольно, можно закурить!

Матросы остановились. Раздались голоса:

— Что же дальше?

— Заблудились, что ли?

— Назад пойдем?

— Все идет по плану, — сказал Озеров. — Будем, товарищи, форсировать ущелье... Так когда-то солдаты Суворова переваливали через Альпы.

Донцов вытащил из вещевого мешка свернутый в клубок канат.

Головенченко обмотал канат вокруг обломка скалы, завязал крепким морским узлом.

— Кто первый? — спросил Озеров.

— Я! Я! — разом отозвались матросы.

— Первым спустится Стебелев, — приказал Озеров. «Надо, чтобы у каждого матроса было чем похвалиться перед товарищами» — подумал он.



Стебелев гордился оказанным ему доверием, но все же ему было страшновато...

— Главное, вниз не смотрите, — посоветовал Донцов.

Стебелев, пропустив канат между ногами, начал медленно спускаться. Он старался опираться на едва заметные выступы в отвесной стене. Но вот нога сорвалась. От толчка канат отошел в сторону, и он быстро заскользил вниз; боль обожгла руки. На мгновение Стебелев задержал движение и оглянулся. Берег потока совсем рядом, конец каната вьется на песке. Точно из глубокого колодца, Стебелеву стали видны и синее небо, и край расцелины, и склонившиеся головы матросов.

Им уже спускаться легче. Стебелев крепко натянул канат.

Озеров, не давая отдыха, повел за собой матросов по берегу, потом, отыскав брод, вошел в поток. Вода прозрачна и холодна, как лед; от нее коченеют ноги, хотя сверху печет солнце. Камни под ногами скользят, горный поток хлещет, сбивает с ног. Озеров, оступившись, упал на колени и вдруг так и застыл. К нему поспешили Донцов и боцман. Он отстранил их рукой:

— Погодите. Вот случай, счастливый случай...

Озерова окружили ничего не понимающие матросы. А он продолжал счищать рукой мелкий зеленоватый мох, которым порос плоский гранитный камень. Сквозь воду виднелась полустертая надпись, выведенная славянской вязью. Озеров задумался, расшифровывая надпись, и затем прочел: «И,ан... Чагов. 1656...» Донцов попробовал поднять камень.

— Не надо, — сказал Озеров, — мы поставим здесь вежу! Вернувшись в Белые Скалы, сообщим в музей о находке.

За ручьем, на опушке леса, моряки расположились на привал.

Озеров стал рассказывать о русских людях — мореплавателях, землепроходцах, первооткрывателях. Он вспомнил о Дежневe, открывшем пролив между Азией и Америкой, о Невельском, впервые исследовавшем устье Амура, о Ерофее Хабарове. Значит, кто-то из русских людей триста лет назад побывал и в этих местах, оставил надпись на камне...

— Мало еще исследован наш край, — сказал Озеров, — каждый день приносит новое. Вот и по нашим следам, может, пройдет экспедиция, и надпись на граните расскажет ученым об очень многом.

Озеров вытащил из планшета карту, отметил на ней место находки, потом, будто о чем-то вспоминая, поднялся и стал через бинокль вглядываться вдаль. Перед ним открылись прямоугольники желтеющих полей на склонах сопок, кажущиеся совсем маленькими и какими-то игрушечными, как домики на детских рисунках, избы в долинах между сопок. Озеров повел биноклем и, наконец, обнаружил то, что искал, — каменный обелиск на могильном холме. Он передал бинокль боцману и предложил всем рассмотреть обелиск.

— Вот это уже история совсем недавняя, — сказал он, — такая история, что заставляет и сегодня кулаки сжиматься да крепче держать оружие.

— Что там такое? — спросил Зеленцов.

— Братская могила, — ответил Озеров. — И надпись на памятнике гласит: «Здесь похоронены 26 марта

1919 года 418 человек мужчин, женщин, детей, замученных интервентами. Не забудь этого, товарищ!»

— Разве ж такое забудешь?! — сказал боцман. — И детям и внукам накажешь, чтоб помнили.

Бинокль переходил из рук в руки. Печальными и суровыми были лица моряков.

Привал кончился, едва успели просохнуть носки и портянки. И снова начался поход. Впереди еще были штурм высоты, преодоление лесного массива, переправа в плыве через глубокую реку.

...В колхоз «Новая заря» моряки пришли после полудня. Здесь предстоял длительный отдых с ночевкой. У крыльца правления колхоза стояла «Победа» интенданта Евтерева. Пока боцман вместе с завхозом устранили матросов на огромном сеновале, Озеров решил поговорить с председателем колхоза, с которым довелось ему познакомиться еще год назад на партийной конференции.

Председатель колхоза Ефрем Гаврилович Нефедов стоял у стола в черном пиджаке, черных брюках, заправленных в блестящие хромовые сапоги; он казался молодым, несмотря на седые волосы и темные очки, совсем скрывавшие его невидящие глаза.

«Выправка у него получше, чем у нашего интенданта, — подумал Озеров, — никогда и не скажешь, что он слепой».

Разговор шел о картошке-скороспелке, которую нужно было срочно доставить в Белые Скалы. Евтерев, сложив руки на животе и быстро перебирая пальцами, говорил:

— Выручай, Ефрем Гаврилович, за мной не пропадет. Я завтра же пришлю машины... Не сидеть же матросам на сушеных овощах...

— Придется обождать, — заметил Нефедов. — Колхозники все заняты на уборке хлеба.

— Да пойми, Ефрем Гаврилович, ты же сам в войну на флоте служил. — Евтерев вытер вспотевшее лицо платком. — За три дня, кто знает, куда уйдут корабли.

— Ничего не могу сделать. Людей нехватает...

Приходу Озерова Нефедов обрадовался. Сам опустился на стул, попросил его сесть. Шутя пожаловался на настойчивость интенданта и заговорил о колхозных делах.

Ефрем Нефедов, по образованию агроном, был страстным патриотом края и знатоком его природы. В колхозе «Новая заря» хозяйство было поставлено не хуже, чем на опытной станции. Росла картошка-скороспелка, лучшая во всем Приокееанье пшеница, не уступающая кубанской, имелся оленеводческий питомник. Но гордостью Нефедова были рисовые поля.

— Тепла у нас для них летом хватает, а солнца больше, чем нужно, — рассказывал Ефрем Гаврилович. — Мы, знаете, приучили южные субтропические сорта к нашему климату.

— Вот хорошо бы все это показать нашим матросам. Мы ведь у вас, если позволите, заночуем... — сказал Озеров.

Евтерев, расстроено молчавший до этого времени, при последних словах Озерова вскопчил.

— Идея, товарищ Озеров! — сказал он. — А что, если матросы с «Державного» помогут колхозу?

Озеров задумался.

— Если добровольно, по желанию...

— Личным примером, личным примером увлечем, — заговорил Евтерев, — я сам впереди с лопатой...

Они вышли во двор. Председатель колхоза шел, постукивая палкой, солнце поблескивало на стеклах его очков. Нефедов оглянулся — казалось, он видит все вокруг — и позвал завхоза, потом все вместе отправились к сеновалу.

Но навстречу им уже шли веселой гурьбой моряки с «Державного». Донцов подошел к Озерову и, вытянувшись, доложил:

— Товарищ лейтенант, матросы просят разрешения на полях побывать, колхозникам помочь... Руки по работе домашней соскучились!

Вечером, подводя итоги трудового дня, Озеров сказал секретарю комсомольской организации:

— Знаю, Донцов, вы давно к вступлению в партию готовитесь. Что ж не просите рекомендации?

Донцов задумался.

— Все проверяю себя, товарищ лейтенант, достоин ли?

— Достойны, — уверенно ответил Озеров. — Хорошим коммунистом будете. И вкус у вас настоящий к партийной работе есть.

## 5

Обратный путь по хорошей гудронированной дороге морякам показался простой прогулкой. К себе на корабль они вернулись субботним вечером, даже усталости не чувствовали. Озеров ушел докладывать о походе командиру.

К матросам подошел Парамонов.

— Ну, как вам понравилось в «Новой заре»? — спросил он.

— Отличный колхоз, богатый, — ответил Донцов.

— Хорошо. Ох, и хорошо! — вырвалось у Стебелева.

— В гостях хорошо, а дома лучше, — прогудел боцман.

После спуска флага Парамонов пригласил всех в гаяту политпросветработы.

Каюты были погружены в полутьму, и Салиев никому не разрешал зажигать свет. Старшина готовил сюрприз.

Посмеиваясь, подталкивая друг друга, находя наощупь банки, матросы рассаживались.

— Внимание, — сказал торжественно Салиев и включил ток. На стене зажглась сделанная матросскими руками большая карта Родины.

Алым светом вспыхнула звезда Москвы. Свет ее лучами расходился по карте; горели белые лампочки, обозначающие электростанции, синие — угольные бассейны, голубые — морские и речные порты... Всеми цветами радуги переливались, сияли огни...

— Здорово!

— Молодец, Салиев!

Матросы сгрудились у карты.

— Смотри, смотри! Комсомольск-на-Амуре! Я его тоже строил и работал там на заводе до призыва на флот, — сказал Петров.

— Видишь, вон Коктла-Ярве, — синие горы — эстонский Донбасс? Брат у меня там, — говорил Мошкин.

— Одесса, вон моя Одесса, самый красивый город в мире! — перебил его Донцов.

Салиев рассказывал Петрову и Ташыбаеву,водя указкой по линии Ферганского канала:

— Только канал построили — пустыни у нас как не бывало. Тутовое дерево растет. Шелк делаем. У нас дома на стене в рамочке — личная благодарность от товарища Сталина.

Каждый сразу же начинал отыскивать на большой карте Советской страны свои родные края. Одному виделись зеленые улицы Алма-Аты, и он спешил рассказать товарищам о майском снежном цветении яблоневых садов; другой вспоминал о фонтанах Петродворца, о девушке, которую он там поцеловал впервые; третий мысленно представлял себя в забое у врубовой машины в шахте Кузбасса; Стебелев, водивший пальцем по течению Енисея и Оби, разочарованно вздыхал, не находя села, близ которого находился детдом.

Казалось, здесь шла переключка делегатов, прибывших сюда со всех концов необъятной страны.

— А мы ведь все земляки, товарищи, — громко сказал подошедший Парамонов.

К нему повернулись удивленно, не понимая еще его слов.

— На одном флоте служим, — продолжал он, — морское землячество.

Мошкин, попросив у Салиева указку, потянулся через его плечо.

— Где ж они, где наши Белые Скалы?

Салиев взял его за руку, и вот указка остановилась у крохотной голубоватой лампочки.

— Вот.

— Такая маленькая, чуть светится! — разочарованно сказал Мошкин.

— И так сделал втрое больше, чем положено по масштабу, — отозвался Салиев.

— Маленькая, говорите? — вмешался Парамонов. — Что ж, пусть маленькая, только и этот маленький свет нашей большой Родине нужен, товарищи земляки...

## 6

Ранним воскресным утром в пустых классах новой школы раздалась звонкая песня.

Запевала Любаша Евтерева. Она стояла на табуретке в широком и длинном не по росту мужнином комбинезоне, затянутом флотским ремнем, и белила стену. Известковые брызги падали ей на лицо, она стирала их рукавом. Рядом белила Наташа. В соседнем классе черноглазая Нина Озерова, подоткнув подол юбки, скоблила пмыла пол. Женщины обмазывали печи в учительской, красили двери, выносили щепень из коридоров и пели песню о сердце, которому не хочется покоя.

В соседних домах открывались окна, появлялись заспанные лица разбуженных жильцов.

Полине Золотовой работать не давали. Ее уже и на верфи временно перевели из цеха в контору. Однако Полина — душа и организатор воскресника, — расставив женщин, сама вместе с Татьяной Световой принялась мыть стекла в спортивном зале школы.

— Как твой Игорь Николаевич — не сердился, что ты ушла на воскресник? — спросила Полина.

— Посмотрел, кажется, немного недовольно. Сказал, что ему лучше работается, когда я дома, а потом вдруг сам стал настаивать: «Иди, обязательно иди!»

Полина подумала о своем муже. Вспомнила, как он мучился еще недавно: то оправдывал себя, то разочаровывался в себе...

— Хорошие у нас мужья, — произнесла задумчиво Полина.

Татьяна кивнула головой.

— Недавно ночью, часа в два, Игорь меня разбудил и давай главу из реферата своего читать. Я сказала ему, что не военный ведь я человек, разбираюсь плохо, а он говорит: «Ты по чувству скажи, хорошо ли, нет ли где фальши?» Нет у него фальши, Полина...

— Ты рада? — спросила Полина.

— Чему?

— Тому, что он разбудил тебя ночью.

— Конечно, рада!..

Мимо Татьяны и Полины прошли Гаранин и Плакуша. Оба они были в парадных тужурках, при кортиках и чувствовали себя немного растерянно. У Плакуши улыбка не сходила с лица, Гаранин с деловым видом размахивал альбомом.

— Зачем это моряки сюда пожаловали? — спросила офицеров Наташа.

Гаранин сказал:

— Я пришел рисовать «Девушку из Москвы».

Он подошел к окну и, бросив взгляд на Любашу, добавил:

— И мне необходимо посмотреть, как трудится эта москвичка.

После разговора с Озеровым Гаранин не только не искал встреч с Любашей, но даже сознательно избегал их. Отказываясь от увольнений на берег, Гаранин проводил свободные вечера за книгами или в беседе с Плакушей, в кубрике среди своих матросов или сражаясь с Махотиным в шахматы. Когда же терпению его приходил конец, он садился за мольберт и рисовал «Девушку из Москвы» по памяти — эскиз за эскизом на фоне строящегося здания, на берегу океана, с протянутыми к набегаящим волнам руками, в тайге, на клубной сцене... Иногда в эти минуты заходил Озеров. Секретарь партбюро теперь знал все до конца. Вдвоем они рассматривали наброски, обсуждая их композицию, сочетания красок, говоря об идее будущего «большого полотна». Гаранин дал Озерову слово, что «все кончено»... И у него самого начало порой появляться такое ощущение, будто женщина, которую он любит, находится далеко, так далеко, что о ней можно только мечтать.

Однако сегодня ранним утром, когда Плакуша сообщила о большом воскреснике на строительстве школы и предложил ему отправиться туда, Гаранин заколебался. Это был единственный случай увидеть Любашу как раз такой, какой он хотел изобразить ее на картине...

Теперь он смотрел на нее, чуточку неуклюжую и совсем необычную в рабочей одежде, и старался запомнить всё — все детали, от лоскутка кожи, завернувшегося на потертом и оцарапанном носке ее ботинка, до кончика роговой гребенки в ее волосах. Но запоминать было трудно. Невольно другая мысль поглотила все его внимание. «Как же она? Рада ли, что пришел?»

Любаша, увидев Гаранина, только усмехнулась и, кивнув ему головой, продолжала работать.

С тех пор как она стала воспитательницей в детском саду, дни у нее были заполнены. Она и сама не заме-

тила, как ушла волнованная ее неясная тревога, а вместе с тревогой и та неопределенная, но настойчивая потребность вспомнить о прошлом, искать в настоящем что-нибудь схожее с минувшими днями, потребность, которая главным образом и сближала ее с Гараниным. Он сразу стал для нее просто хорошим знакомым, о нем она иногда думала спокойно, как о милом собеседнике, который мог бы стать, вероятно, другом и ей и Михаилу, если б, однако, не был в нее влюблен.

«Надо ему это объяснить», — подумала Любаша.

— Ну, а вы, Валерий Александрович, с чем пожаловали? — спросила Наташа фельдшера.

В сбившемся на затылок синем берете, с прядью волос, падавшей ей на открытую шею, с раскрасневшимся лицом, усеянным белыми известковыми пятнышками, она казалась Плакуше такой хорошенькой, глаза ее так задорно и весело поблескивали, что он не знал, как ей ответить.

— Что ж вы молчите? — Наташа засмеялась. — Берите ведро и пойдемте за известью... А потом вы наденете фартук и будете белить... Я лодырей не люблю.

Плакуша покорно взял ведро и пошел за Наташей.

В дверях он успел ей шепнуть:

— Сдал вчера зачет по военно-морскому делу. Сам Высотин меня похвалил...

Фельдшер не закончил фразу. Навстречу шла Анна.

— Ты захватила для меня комбинезон, Наташа? — спросила Анна, обращаясь к сестре.

Оставшись вдвоем с Любашей, Гаранин негромко сказал:

— Мы давно не виделись.

— Я ведь теперь работаю... — Любаша белила под самым потолком, и это позволяло ей не смотреть на собеседника.

Гаранин покачал головой. Тупым концом карандаша он провел несколько линий по пыльному слою на подоконнике. Обозначился профиль, немного похожий на него самого, и рядом профиль Любаши.

Из соседнего окна показалась голова Татьяны Световой; она опускала вниз, перебирая руками веревку, тяжелое ведро с мусором. Гаранин прошел в соседнюю комнату, помог Татьяне спустить ведро и сразу же вернулся. Сейчас ему было жаль расстаться с Любашей хоть на минуту. Было радостно только от того, что он находился рядом с ней. «Зачем же я избегал ее? — подумал он. — Разве обязательно говорить ей о своих чувствах? Могу же я встречаться с ней как товарищ! И мне ведь легче, и для нее ничего плохого нет. А потом когда-нибудь... Потом будет видно, может быть, все пройдет». Гаранину показалось, что он нашел самый разумный выход.

— Я вспоминаю, Любовь Сергеевна, каждый день, — сказал он, — и наши репетиции и разговор наш о Москве и о далекой гавани — как это было хорошо...

— Да, хорошо, — согласилась Любаша.

— Почему бы нам не продолжать дружить?

Любаша отложила кисть и сказала твердо:

— Нам не нужно видеться... — Она залпнула. — Потому... — Энергично тряхнув головой, Любаша решительно закончила: — Потому, что моему мужу это неприятно.

Лицо Гаранина выразило недоумение. «Вот уж о нем я и не думал».

— Вижу, вы не совсем попяли, — продолжала Любаша. — Поймите же, когда девушка выходит замуж за человека, который значительно старше, она делает это потому, что он в ее глазах стоит на две головы выше ее сверстников. Я знаю, вам Михаил кажется, может быть, порой смешным. Но разве вы его знаете? Он верный, сердечный, большой человек. Он из-за меня порой мучится. И мне стыдно... — Любаша отвернулась.

Гаранин молчал. Да и что он мог возразить? Сказать, что его мысли дальше дружбы не идут?

Теперь, когда Любаша отвергала самую возможность дальнейших встреч, он уже не мог не признаться себе откровенно: «Да, и товарищеская близость и дружба с ней — все самообман. Ведь я ее люблю...»

Во двор привезли школьные парты. Гаранин рассеянно наблюдал, как шофер вышел из кабины, обошел вокруг грузовика, осматривая скаты и толкая их ногой, потом снова залез в кабину и стал сигналить, вызывая рабочих на разгрузку.

«Но почему она высказала мне все только сегодня?» — подумал Гаранин. Ему казалось, что Любаша сама искала его дружбы и даже давала понять, что не удовлетворена семейной жизнью... «Как же так?»

Любаша будто прочтала его мысли.

— Я все-таки хочу объясниться до конца, — сказала она неторопливо. — Вероятно, я виновата и перед вами, давала повод... как говорят... — Она пожала плечами. — У меня с Михаилом бывали размолвки... Ну, и что же? — Любаша провела ладонью по лбу. — Вот если бы вы были настоящим товарищем, другом, вы помогли бы мне глубже оценить любовь мужа, ну, и помогли бы мне и ему понять друг друга. Так ведь?

До Гаранина плохо доходило то, что говорила Любаша.

Хлопнула дверь. В класс вбежала Наташа, за ней, с ведром в руках, Плакуша. Лицо у него было красное и счастливое.

Гаранин поглядел на Любашу. Она, напевая что-то под нос, продолжала белить потолок. «Да, так-то кончилась моя первая любовь...»

Гаранин посмотрел в окно. Двор школы показался ему пыльным и узким, море, бившееся о берег, — серым и однообразным, будто сразу потускнели все краски.

Ему было грустно и больно. На память пришли пушkinsкие строчки: «Мне грустно и легко; печаль моя светла; печаль моя полна тобою». «Что ж, — думал Гаранин, — придется мне отойти в сторону. Ни дружбы, ни любви... «Грустно и легко...» Совсем это не так легко. Да, видно, ничего не поделаешь — надо».

— Вот что, товарищи офицеры, либо работать, либо уходите отсюда, — сказала Наташа, — здесь не парк культуры и отдыха.

Гаранин сначала не расслышал, он все еще смотрел в окно. Наташа решительно дернула его за рукав и повторила свое требование; он показал руками на тужурку.

— Одежда неподходящая.

— Есть свободный комбинезон, — крикнула из соседней комнаты Озерова.

— А вы, доктор, — сказала Наташа, — снимайте тужурку. Вон там, в шкафике, есть фартук... Ничего, ничего, к вечеру я приведу ваш парадный костюм в порядок...

Гаранин в комбинезоне и Плакуша в огромном, достигавшем до земли фартуке печника спустились вниз. Гаранин был мрачен, Плакуша смущен.

Машину разгружала женская бригада во главе с Анной. Гаранин вскочил в кузов машины, отстранил Анну и стал с ожесточением двигать парты.

— Не горячитесь, лейтенант... — Анна рассматривала с сожалением свой обломанный ноготь. — Давайте лучше вместе.

Из-за ворот показались боцман, Донцов и Ташыбаев. Ташыбаев взобрался на машину и стал рядом с Гараниным. Донцов внизу принимал груз.

Анна оперлась о стенку шоферской кабины. У нее болели и руки и ноги, ныло все тело. «Вот что значит отвыкнуть от физической работы», — думала она.

Между тем Плакуша, успевший снести на второй этаж парту, отдуваясь, возвратился во двор и столкнулся лицом к лицу с Головенченко.

— И вы здесь, боцман? — удивился он.

— Так точно, товарищ лейтенант, — отозвался Головенченко. — Мои хлопцы в этой школе учиться будут. — Фельдшер в висящем на нем длинном парусиновом фартуке был невозможно смешон, но ни один мускул не дрогнул на лице старого служаки.

Анна обратилась к Ташыбаеву:

— Как у вас дела, Шермат?

— Учусь, Анна Ивановна. Может быть, скоро в Ленинград, в училище направят.

— Только вы не забудьте перед отъездом зайти ко мне на верфь, — сказала Анна. — Покажу вам, как воплощается на новых пароходах в жизнь ваша идея.

— Спасибо. Обязательно приду... — ответил Ташыбаев. — Но для чего вы здесь, Анна Ивановна?

— Как для чего?

— Ну, вы ведь главный инженер... — Шермат замялся.

— Мой сын, Шермат, в этом году в первый класс идет, — сказала Анна гордо. — Что же, вы думаете, я мать хуже других?

Солнце припекало все больше, и после полудня воздух казался раскаленным.

От жары с непривычки устала не одна Анна; праздничный подъем, с каким начался воскресник, стал спадать. Не желая признаться друг другу в своей усталости, женщины продолжали работать, но уже не было слышно ни смеха, ни песен, ни шуток. Даже моряки невольно поддались общему настроению.

Звенигоров приехал на строительство в третий раз за этот день. Будучи занят срочными делами, он тем не менее не мог оставить воскресник без своего присмотра. По усталому виду женщин Звенигоров понял общее настроение и, приложив рупором ладони ко рту, крикнул громко и весело:

— Полдничать время, товарищи женщины!

По тому, как дружно все бросила работу, Звенигоров понял, что приехал как раз вовремя.

Он слегка пожурил Полину за то, что она не догадалась сделать перерыв раньше, и уселся под деревом.

— Свистать всех сюда, лейтенант, — улыбнувшись, сказал он находившемуся неподалеку Плакуше.

Появился на школьном дворе освободившийся к полудню от корабельных дел Озеров; едва войдя в ворота, он увидел Гаранина, стоявшего в одиночестве у груды парт. Сразу обратив внимание на расстроенное лицо друга, Озеров спросил встревоженно:

— Что с тобой, Сергей Никитич? Видел ее, конечно, и говорил с ней — не утерпел?

Гаранин кивнул головой.

— Она, понимаешь, настоящая, хорошая женщина.

— Алеша, сюда! — донесся голос Нины Озеровой. Сорвав с головы косынку, она приветственно размахивала ею в воздухе.

— Пошли, Сергей Никитич. — Озеров взял Гаранина за руку.

Женщины подходили и садились прямо на траву рядом со Звенигоровым. Только для Полины кто-то принес маленькую скамейку.

Начальник политотдела подшучивал мягко и добродушно:

— Что, товарищ главинж, и воду таскать тяжело и суда строить тяжело? Вот так она вся жизнь — и тяжела и хороша! — сказал он, протягивая Анне руку, и тут же бросил раскрасневшейся, пышущей жаром Озеровой:

— Рад, ей-богу, рад! Каждый день вы политотделу за школу баню устраивали: не будет, дескать, к сроку готова, — а теперь сами будто только что с верхней полки.

Женщины развертывали пакеты с едой. Наташа вытащила бутылку молока и подала ее Плакуше, Татьяна угощала Звенигорова домашними пирожками. Он, однако, отказался и подмигнул своему шоферу.

Не прошло и минуты, как шофер с помощью Донцова и Ташыбаева притащил из машины большой ящик с яблоками, полуторалитровый рог и две бутылки вина. Все это они поставили перед Звенигоровым, сидевшим, скрепив ноги, в центре большого круга.

— Если спавать нас собираетесь, так вина мало-вато, — пошутила Анна.

— Ты хозяин наш, ты кудрявый наш, ты кудрями потряси, нам по чарке поднеси! — пропела вдруг звонко Озерова, входя в круг перед начальником политотдела, и, будто собираясь плясать, притопнула ногой.

— Лихо! — Звенигоров засмеялся и, поднявшись, сказал уже серьезно: — Вот что, товарищи женщины. Прислали мне фронтовые друзья из Грузии яблоки, рог и вино и написали, чтобы выпил я со своими новыми друзьями за какое-нибудь хорошее, новое дело.

Шофер вылил в рог одну за другой обе бутылки и подал его начальнику политотдела.

— Сами все выпьете? — с деланным ужасом спросила Наташа. Но Звенигоров, погрозив ей пальцем, продолжал:

— Все вы знаете статью Ленина о первом субботнике. Вот я и хочу, чтобы мы распили круговую чашу за тот великий почин и за ваш воскресник, который является маленьким хорошим почином в Белых Скалах. — Звенигоров передал рог Полине, та, пригубив, Татьяне. От нее рог перешел к Любаше, потом к Головенченко, Плакуше, Анне, Озерову.

Любаша вдруг запела:

Вперед, заре навстречу,  
Товарищи в борьбе!..

Это была песня, которую, как ей казалось, могли петь на том, далеком, первом субботнике.

Звенигоров лег на спину и закрыл глаза. Неподалеку от его головы качались кусты желтой ромашки, разросшейся за лето на школьном дворе, пух одуванчика несся куда-то вверх. В знойном и душистом от дыхания близкой тайги воздухе звучала песня. Она напомнила Звенигорову о годах юности. И ему на миг представилось, как скачет он, по-казацки приподнявшись на стременах, как храпит конь, неся его по бескрайним дорогам России, как со звоном скреживается его сабля с саблей остервенелого от крови мамонтовца... Затем выплыла откуда-то на миг покрытая угольной пылью улица шахтерского поселка двадцатых годов. И он сам в брезентовой куртке, молодой, статный, с лицом, чумазым от копоти и угля, и рядом — под стать ему, тогда юная, черноглазая жена с маленькой девочкой на руках. «Как это было давно! А кажется, еще совсем мало жил. Жена умерла, и первая дочь умерла, а вторая замужем в Москве, и сам я теперь — одинокий бобыль». Звенигорову стало грустно. «Ведь бывает же так: я учу других, как строить жизнь, а свою, как хотелось бы, так и не наладил... Значит, не судьба...» Он готов был сейчас позавидовать и Золотову, у которого такая чудесная жена и целый выводок детей, и Озерову, не отрывавшему глаз от своей Нины, и всем другим, у кого и любовь, и семья.

Песня оборвалась, и тотчас зазвучала новая, веселая, задорная:

Что за славные ребята,  
Только встреча коротка...

Звенигоров почувствовал на своем плече чьи-то пальцы и открыл глаза.

— А дремать нельзя. От солнца голова разболится, — блестя глазами, улыбаясь, проговорила нараспев Наташа.

То ли от этой девичьей улыбки, то ли от нежного прикосновения руки, то ли от задорного мотива песни — но только настроение Звенигорова сразу изменилось.

«Разве дело у меня не любимое? — уже удивляясь своей грусти, подумал он. — Разве дочка позабыла меня? А сколько людей приходят ко мне за советами и помощью в трудную минуту?»

— Что верно, то верно, Наташа, с солнцем шутки плохие, — сказал он. — Хорошо отдохнула? Руки и ноги не болят?

— Ой, да что вы спрашиваете... Я после воскресника еще на танцы помчусь. Не верите, вот честное слово! — Наташа лукаво улыбнулась.

И от ее полного жизни взгляда, и от того, что он заметил, как все наблюдают за ним и хотят, чтобы он был бодрым и веселым, как и они сами, Звенигорову стало совсем хорошо. Он бы даже теперь стал запевадой следующей песни. Но Полина уже поглядывала на оставшуюся незаконченной работу. Тогда Звенигоров поднялся, взял лежащие на дворе носилки. Подозвав Нину Озерову, он весело сказал:

— Охота мне вот с такой бойкой в паре поработать, — и, обернувшись к боцману, шутливо, по-морскому скомацдовал: — Продолжать большую приборку!

Анна возвращалась с воскресника одна. Она не хотела мешать Наташе и Плакуше, решившим пойти в музей, и распрощалась с ними, сказав, что должна еще сделать кое-какие покупки.

Наступивший вечер не принес с собой прохлады. На размягчившемся за день асфальте тротуара оставались отчетливые следы пешеходов. Из тайги доносился запах сосен и елей. Анне давно уже хотелось пить, и она зашла в расположенное посреди бульвара маленькое летнее кафе. Мраморные столики стояли прямо под тентом на полянке, окруженной кедрами. Анна выбрала себе место за свободным столиком у самого барьера, отложила в сторону сверток с комбинезоном и с наслаждением вытянула натруженные ноги.

Пока официантка ходила за водой и мороженым, Анна блаженно отдыхала. Хотелось не думать ни о каких сложных жизненных вопросах, а так просто наблюдать за людьми, проходившими по бульвару, за щенком, потерявшим хозяина и мечущимся с лаем по аллее, за перистыми облаками в небе.

— Здравствуйте, Анна Ивановна!

Перед ней стоял затянутый в мундир Кипарисов; вид у него был чрезвычайно официальный и строгий. Он попросил разрешения сесть за ее стол. Анна равнодушно кивнула головой. «Что за странная прихоть — в такую жарницу в мундире?» — подумала она.

Кипарисов прочитал этот вопрос в ее взгляде и сказал:

— Я был у вас, чтобы поговорить о том, что чрезвычайно важно для нас обоих.

Фраза эта была подготовлена Кипарисовым заранее, как, впрочем, и все то, что он хотел сегодня сказать Анне.

В походе Кипарисов некоторое время не думал о ней. Там все заслонили мысли; вызванные смертью дочери. Однако Кипарисов слишком был занят самим собой, чтобы горевать о чем-нибудь долго. «Как ни печально случившееся, — решил он, — так или иначе с прошлым покончено. Пора заняться настоящим. Сейчас жена, умная и любящая, нужна мне, как никогда».

Кипарисов заперся у себя в каюте и стал все трезво и обстоятельно продумывать. Он понимал, что сначала произвел на Анну невыгодное впечатление. «Нес я тогда всякую чепуху, и она, как женщина серьезная и положительная, конечно, отвернулась, — рассуждал он. — Но я ведь могу доказать, что я не ловелас, я не буду за ней попусту ухаживать, говорить банальные комплименты, а сразу сообщу ей о своих серьезных намерениях. Что может иметь она, вдова с ребенком, несомненно думающая о замужестве, против меня?» Размышления Кипарисова кончились тем, что он надел мундир и уверенно отправился к Анне.

И все-таки сейчас, случайно встретив Анну в кафе, он заволновался. Заволновался так, что не мог этого скрыть.

— Что случилось? — спросила Анна, смотря на побледневшее лицо Кипарисова.

— Это очень важно, — повторил Кипарисов. И вдруг почувствовал, что для него и в самом деле очень важно было добиться расположения этой женщины.

Анна, темная от загара, в белом летнем платье, показалась ему особенно красивой. А равнодушные, в первый момент проскользнувшие в ее взгляде, поколебало его уверенность.

— Вы считаете неудобным говорить в кафе? — спросила Анна.

— Да, Анна Ивановна.

— Пойдемте. — Она порывисто поднялась и, оставив на столе деньги, направилась к стоявшей несколько в стороне скамейке.

— Говорите. «Неужели что-нибудь случилось с Андреем?» — мелькнула у нее тревожная мысль.

То, что представлялось Кипарисову легким и простым, когда он рассуждал сам с собой наедине в своей каюте, теперь казалось трудным и сложным, и он уже стал колебаться, не отложить ли разговор до другого раза.

— Я слушаю, — нетерпеливо сказала Анна.

И Кипарисов решил:

— Я думаю, мы с вами взрослые люди, и можно говорить открыто и спокойно.

— Да, да! — У Анны все нарастало предчувствие чего-то нехорошего.

Кипарисов видел волнение Анны и, поняв его по своему, обрадовался и успокоился сам.

— Все это время, со дня нашей прошлой встречи, — продолжал он уже увереннее, — я думал о вашей и своей судьбе и пришел к выводу, что мы очень подходим друг другу: вы — главный инженер верфи, я — офицер. — Последние слова Кипарисов произнес гордо.

«О чем он говорит?» — Анна удивленно посмотрела на Кипарисова. И вдруг ей все стало ясным. Тревога за Высотина исчезла, и на душе стало легко. «Бажется, он всерьез мне делает предложение», — подумала Анна и, не в силах сдержаться, расхохоталась.

Весь этот разговор и сам Кипарисов в шитом золотом мундире показались ей какими-то ненастоящими.

Смех у Анны был такой веселый и чистосердечный, что Кипарисов не мог даже обидеться.

— Простите, Анна Ивановна, — сказал он мягко, — что я делаю это так, с места в карьер, но я редко бываю на берегу и скоро вновь ухожу в плавание. И не нужно, совсем не нужно смеяться...

— Право, я не понимаю вас, — сказала серьезно Анна.

— Видите ли, я трезво смотрю на жизнь. Пора бездумной любви и безрассудных увлечений для меня миновала, — продолжал Кипарисов, склонив голову и стараясь придать своим словам наибольшую выразительность. — Мы могли бы идти через жизнь вместе, рука об руку...

«Какая ерунда!» Анна поднялась со скамейки.

— Одну минуту! — Кипарисов почувствовал, что с Анной произошло что-то, чего он не предвидел; в голове его прозвучала тревога, он заторопился. — Я не настаиваю сейчас на ответе, Анна Ивановна, обдумайте, взвесьте.

«Будто сделку предлагает. Есть же еще такие люди!» Анна круто повернулась и пошла быстро, не оборачиваясь.

Кипарисов сделал было несколько шагов за ней, остановился, удивленно поднял брови. «На что она обиделась? Что за истеричная женщина! Неужели я ошибся? Или, может, и тут замешан Высотин...»

Ему показалось, что он нашёл, наконец, объяснение всему.

Бипарисов зашел в кафе, заказал вино и, расстегнув крючки на воротнике мундира, глубоко задумался.

9

Россинский жил на корабле, не желая брать квартиры на берегу. Да и зачем она одинокому человеку? Жена штурмана руководила кафедрой истории в Московском педагогическом институте и приехать к нему пока не могла, дочь училась тоже в Москве на геологоразведочном факультете.

В свободные часы Россинский любил перечитывать письма жены и дочери, рассматривать их фотографии; потом он садился в кают-компанию за пианино и импровизировал. Мелодии возникали под пальцами сами собой, как аккомпанемент его мыслям. Штурман мечтал о том близком времени, когда в Белых Скалах будет закончено строительство института и жена придет к нему, чтобы жить и работать вместе. «Совьем новое гнездо в Белых Скалах и уж, наверное, теперь навсегда, — думает Россинский. — Дочь? Может, и она придет?»

Высотин вошел в кают-компанию и, обращаясь к Россинскому, сказал:

— Я свободен сейчас, Николай Арсентьевич, а вы?

Россинский опустил крышку пианино и утвердительно кивнул головой.

Высотин обнаружил в своём штурмане превосходного знатока океанографии, одного из самых любимых своих предметов. Часами с увлечением изучали они приливы и течения, рельеф дна и характер грунта, плотность и температуру воды в различных частях океанского побережья, спорили, обсуждая варианты прокладки курса из Белых Скал ко всем портам мира — не потому, что это было нужно по службе, а «для развития ума», как любил говаривать Россинский.

— Займемся, Андрей Константинович? — спросил штурман.

— Давайте-ка раньше зайдем посмотрим на модель «Державного», — ответил Высотин, — ее сегодня заканчивают.

Командир и штурман спустились в каюту политпросветработы. Здесь на столе стояла большая модель «Державного», любовно сделанная комсомольцами в подарок Золотову. Это была точная копия корабля. На баке и юте видны были маленькие шпильки, в клюзах — крохотные якоря, впереди фок-мачты — боевая рубка; над шкафом подымалась дымовая труба; тут же располагались тщательно выпиленные шлюпки с подъемными устройствами.

Модель была уже закончена. Оставалось только ее покрасить.

Вокруг нее, как всегда после ужина, собралось много людей. Среди них и Петров, и Стебелев, и Ташыбаев, и Донцов, и Зеленцов. Каждый внес свою долю в общий труд.

Здесь в последнее время шли по вечерам длинные дружеские беседы.

Неожиданно возник жаркий спор, касавшийся то принципов расположения орудий, то рулевого устройства.

А порой просто вспоминали морские пути, по которым ходил «Державный» во время Великой Отечественной войны, бои, в которых корабль принимал участие.

Озеров, присутствовавший на этих вечерних беседах, привлек к ним всех офицеров корабля. Они включались в беседу, направляли ее. Проводя ток и включая лампочку на клотике, заговаривали о Яблочкове; споря об устройстве радиорубки, вспоминали изобретателя радио Попова. Гаранин, помогая устанавливать орудия, рассказывал об истории развития морской артиллерии. Но больше всего любили матросы, когда приходил штурман. Он многое перевидал на своем веку, и его рассказами о русских мореплавателях матросы заслушивались.

И сейчас при виде штурмана и командира корабля все оживилось, ожидая чего-то интересного.

— Что же, товарищи, — сказал весело Высотин, подходя к модели. — Окрасим сейчас тезку «Державного», флаг поднимем и подарим бывшему командиру. Матросское слово — золото. А себе, теперь уже для учебы, другую модель сделаем... Ну, где же Головенченко?

— Третий день колдует боцман, — отозвался Озеров, — говорит, такой кодер составлю, чтоб и большой и маленький «Державный» от моря и неба отличить нельзя было.

— Что ж, подождем Головенченко.

Заметив Стебелева, Высотин подошел к нему.

— И вы, вижу, моделью увлеклись? Говорят, всю столярную работу делали?

— Еще в детдоме учился, товарищ командир, рамки всякие выпиливал. — Стебелев смутился. — Старался, как мог...

— Значит, модель вам по душе приглянулась. А сам «Державный» как же?

Стебелеву трудно было ответить на вопрос командира. Он никогда не задумывался над тем, любит ли он свой корабль. Только знал уже, что именно здесь, а не где-нибудь в другом месте, хочет отслужить и отслужит свой срок. Он привык к «Державному» и его людям и поэтому ответил привычной, не раз слышанной от боцмана фразой:

— Как родной дом мне корабль...

— Рад я за вас! Без этого служить было бы трудно. — Высотин провел пальцем по гладко отполированной мачте модели и добавил — он понимал, что это будет самым важным для Стебелева: — Кстати, по ходатайству капитан-лейтенанта Махотина завтра переводитесь в котельные машинисты. Довольны?

— Доволен, товарищ капитан третьего ранга. — Стебелев расцвел, глаза его заблестели.

— Только не забывайте никогда о том, какие люди поручились за вас: боцман дал вам положительную аттестацию, секретарь комсомольского бюро тоже, Салиев сам просил к нему вас направить. Не подведите их.

— Постараюсь, — тихо ответил Стебелев.

— Верю! — Высотин повернулся к стоявшим рядом Ташыбаеву и Зеленцову. — Как, артиллеристы, дела? Сможет вот эта штука, — он указал на сделанный на модели макет орудия имени Петра Чайки, — скажем, при десятибалльном шторме стрелять без пропусков?

— На «Державном» сможет, товарищ командир, — сразу поняв смысл вопроса Высотина, ответил Ташыбаев.

— А эта? — Высотин положил указательный палец на макет орудия Ташыбаева.

— Тут сомнений нет, — сказал Зеленцов.

— Значит, друг за друга отвечаете. Похвальное единство. — Высотин улыбнулся. — Но запомните: крепко держитесь, друзья.

— Есть крепко держаться.

— Есть...

Ташыбасов и Зеленцов ответили почти одновременно.

В коридоре послышались тяжелые шаги боцмана. Высотин повернулся к двери.

В каюту вошел Головенченко, держа в руках металлическую пластинку, окрашенную в серый цвет с едва уловимым голубоватым оттенком.

На первый взгляд это была обыкновенная шаровая краска, но боцман торжественно подал пластинку Высотину. Командир и штурман стали рассматривать ее.

Высотин шагнул к иллюминатору, и в лучах заходящего солнца краска словно ожила — из серовато-голубой она стала нежнобирюзовой, как небо. Он повернул пластинку, и она вдруг приняла зеленоватый оттенок океанской воды. В тени она казалась серебристой, как далекая туманная дымка. Высотин задернул шторы, и пластинка будто растворилась в полумраке.

— Поразительно! — вырвалось у штурмана.

— Очень хорошо, боцман, — сказал Высотин.

Головенченко стоял с сияющим лицом.

— Бился, бился: как, думаю, такой колер подобрать, чтобы «Державного» враг увидеть не мог ни днем, ни ночью. Ну, вот, вроде придумал.

— Ну-ка расскажите, боцман, ваш секрет.

— Секрета, оно, может, и нет, — ответил Головенченко, — сколько уж лет возжусь с краской. Тонны ее через мои руки прошли. Как вам сказать... — Он задумчиво подкрутил ус. — Ну, белила взял, чернь, ультрамарин, конечно, охры и зелени еще вот столечко. — Он будто отмерил на своем ногте мизерное количество охры и зелени.

— В общем, химический состав понятен, — сказал Россинский и улыбнулся.

— Я думаю, для флота — это большое дело, боцман, — сказал Высотин. — Краску вашу мы отправим в интендантство, пусть проверят в лаборатории и утвердят как эталон. — Он сердечно пожал Головенченко руку. Потом, обращаясь уже ко всем, сказал: — Пока боцман будет красить модель, рассаживайтесь, товарищи, да и потолкуем о предстоящих учениях.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Полночь. «Державный» неподвижно застыл у пирса. Тихо на палубе, слышатся лишь равномерные шаги вахтенного.

В каюте командира корабля горит настольная лампа.

Видна стопка аккуратно сложенных книг, лист кальки, параллельная линейка, транспортир и раздвинутый циркуль. Над столом на переборке деловито стучат часы.

Высотин, задумавшись, машинально вертит карандаш между пальцами. Работа окончена — корабль подготовлен к учениям. Все выверено, учтено до мелочей. Рассчитана каждая миля предстоящего пути, запасы топлива, воды и продуктов. Принят боезапас. Проверены машины, связь, оружие... И все же Высотин неспокоен. Предстоящие учения — для него экзамен, и не только экзамен, а битва, из которой корабль должен выйти победителем.

Командир думает о подчиненных.

«От людей зависит успех каждого дела». Знакомые лица одно за другим проходят перед его мысленным взором. Широко улыбающееся — Парамонов. «Ну, с ним мы в корабельных делах одним живем, — продолжает думать Высотин, — он ли мои приказы в жизнь проводит, я ли его замыслы приказами оформляю? Если бы не он, не найти бы мне так быстро контакт со всем экипажем. Со всем ли? А Кипарисов? Что ж, исполнительный офицер... Исполнительный, — усмехнулся про себя Высотин, — это годится разве только для официальной служебной характеристики. В самом ли деле он такой формалист, или это только поза у него? И если поза, то как добраться до настоящих, человеческих струн в его душе? Так... А Стебелев? Приказания выполняет четко и с душой. Но все еще остался замкнутым человеком».

Высотин с досадой постучал карандашом о стол, и будто в ответ раздался тихий стук в дверь. Вошли Парамонов и Озеров.

— Не помешаем?

Не успели они сесть, как в неплотно прикрытую дверь просунулась сначала бородка Россинского, а потом и он сам.

— Забрел на огонек, позвольте?

— Заходите, рассаживайтесь уж, полуночники. — Высотин рассмеялся.

— Ну, наверно, все насчет прокладки тревожитесь? — обратился он к штурману. — Вы ведь не хуже Сакеллари в астрономии разбираетесь...

— В океане поход не шуточное дело, тревожусь, — признался Россинский, — погода свежая будет, старые кости ноют...

— Что ж, придвигайтесь поближе. Товарищи нас извинят...

Высотин и Россинский склонились над картой. Парамонов стал за спиной командира. Озеров взял с полки томик Лермонтова и начал его перелистывать.

— Ну, вот и все, — сказал через несколько минут Высотин, — и хватит сомневаться, штурман. У Плакуши есть, наверно, какое-нибудь средство. Пусть даст, чтоб ваши старые кости не ныли.

Россинский развел руками: «Мол, пробовал, не помогает...»

— Мы о большом политическом деле пришли к вам поговорить, товарищ командир, — сказал Озеров торжественно.

— Слушаю. — Высотин немного удивился этой торжественности.

— Час назад вместе с Гараниным мы проверили и обсудили окончательно все данные и пришли к выводу, что все наши артиллеристы могут считаться отличниками.

— Все?! Что ж, это очень хорошо. — Ничего неожиданного для Высотина в словах Озерова не было.



— Я думаю, — продолжал Озеров, — что следует объявить приказом артиллерийскую боевую часть целиком отличной.

Высотин посмотрел на раскрасневшееся лицо Озерова и весело сказал:

— Хорошо. После учений...

— Сейчас бы лучше... Ведь какой это создаст моральный подъем! Поможет все задачи в походе успешно выполнить! — Никогда еще Озерову не хотелось так убедить командира корабля в своей правоте.

Высотин бросил взгляд на штурмана. По выражению лица Россинского было ясно, что он целиком на стороне Озерова. Парамонов почему-то сидел спокойно, будто спор его не касался.

— Нет, — сказал Высотин, вспомнив указания контр-адмирала, — еще раз нет! «Морская война» на нашем театре — дело нелегкое. Мы еще не проверили наших людей в таких суровых и близких к боевым испытаниям, какие будут на этих осенних учениях. Сначала проверим. А потом, если заслужат, хоть все боевые части по приказу отличными объявлю. А сегодня не время. Согласны? — Он повернулся к Парамонову.

— Я давно согласен, — серьезно ответил Парамонов, а потом, улыбнувшись, добавил: — Час назад мы о том же спорили с Озеровым, он попросил меня при докладе у вас держать «временный нейтралитет». — Повернувшись к Озерову, он сказал: — Всем надо разъяснить, что учения покажут, кто достоин звания отличника.

Высотин кивнул головой, раскрыл коробку с папиросами и сказал:

— Ну, а теперь давайте выкурим по единой, пять минут помолчим — и отдыхать. А замполит в наказание за то, что не курит, пусть мечтает вслух.

— Так, может, я лучше закурую? — спросил Парамонов.

— Нет уж, табак впустую переводить не дам.

— Ладно, так и быть. — Парамонов задумался. — Помните, Андрей Константинович, историю о людях, умеющих видеть будущее, что я вам рассказывал при первом знакомстве?

— Помню, конечно.

— Ну вот, давайте опять посмотрим вперед, хоть не далеко, хоть на один год... Видите, вон уже сколько в гавани кораблей, красавцы какие, силища какая! Сотни вымпелов реют... Заводы дымят, копры среди тайги поднялись... Слышите, паровозы гудят? Железную дорогу к Бедым Скалам провели. — Парамонов говорил так, будто и впрямь все это видел и слышал. — Театр оперы и балета из мрамора построили, институт строительный открыли, в садах мичуринские апельсины цветут. Людей понаехало — тысячи! А ветеранам почет! Судостроительный завод наш — стахановский завод. А «Державный» давным-давно, конечно, отличный корабль. Слышали, целиком отличный корабль! Ну, чего вам еще? На сегодня, пожалуй, хватит.

— Целиком отличный. А дальше что? — спросил Россинский.

— Как это? — удивился Парамонов.

— Нет, я серьезно. — Штурман вынул изо рта папиросу. — Вот стал корабль отличным, к чему же еще тогда стремиться?

— Эх, дорогой мой Николай Арсентьевич, — ответил Парамонов, — жизнь каждый день такие требования перед нами ставит, что сегодняшним отличникам надо очень много приложить и ума, и энергии, и воли, и труда, чтобы остаться ими завтра и послезавтра.

— Значит, так и будут требования все время обгонять людей? — сказал штурман.

— А люди обгонять требования и сами ставить новые, — вставил Высотин. Он поднялся. — Друзья мои, мы, конечно, не бесплотные мечтатели. И много об этом можно говорить, да, жаль, папироса докурена. Отдыхать пора...

## 2

Перед сном Высотин решил пойти подышать свежим воздухом. Он поднялся на палубу и долго стоял, наслаждаясь прохладой и безмолвием ночи.

В колеблющейся черной воде отражались звезды, свет их то уходил в глубину, то ярко мерцал на поверхности. Темные силуэты кораблей виднелись по всей бухте: они стояли — большие и малые, — выстроившись в ряд у пирсов и на рейде. Горели на мачтах огни. И только у выхода в океан цепочка света обрывалась, беспрестанно мигал далекий маяк, а на противоположной стороне бухты, казалось, висели в воздухе красные фонари, зажженные на высокой мачте радиостанции, построенной за городом.

Высотин глядел на ворота в океан; оттуда дул ровный ветер.

Бескрайний морской путь уходил из бухты в мир. Высотин мысленно шел по нему, и казалось ему, «Державный» гордо плыл, взрезая форштевнем воду, по бесконечным просторам океана. «Нет такого места на земле, где бы не бывали русские корабли».

По сонной бухте прошел рейдовый катер, направляясь к флагманскому кораблю. Вспененная волна фосфоресцировала голубоватым сиянием. Капельки воды, как звезды, излучали живой и прекрасный свет...

От долгого глядения на воду у Высотина слегка кружилась голова, будто все предметы медленно неслись в круговом движении.

Он закрыл глаза и вспомнил:

Смотрю, смотрю —  
и всегда одинаков,  
Любим,  
близок мне океан.  
Вовек  
твой грохот  
удержит ухо,  
В глаза  
тебя  
опрокинуть рад.  
По шири,  
по делу,  
по крови,  
по духу —  
моей революции  
старший брат.

«Эх, до чего метко сказано!» Высотин жадно втянул ноздрями свежий морской воздух.

Потом, как и всегда, пришла мысль об Анне. «Ближайший, все понимающий друг и женщина, единственно желанная...» Ему было тяжело и больно от того, что не

удалось ни разу повидать Анну после памятного вечера, который сначала приблизил, а потом отдалил его от нее.

Позавчера он пришел к Анне попрощаться перед походом, но не застал ее дома. У нее было срочное совещание на верфи.

Наташа принимала гостей — Полину Золотову и Любашу Евтереву. На столе булькал закипавший электрический чайник. Окно было широко распахнуто, и ночные бабочки летели на свет.

Люба и Наташа, сбросив туфли и забравшись на тахту с ногами, играли с Сережей. Они по-приятельски усадили Высотина между собой. Распалившийся Сережа взобрался к нему на плечи, как к старому другу. Поглаживая мальчика, Высотин подумал: «Вот уже все позабыл, малыш, а мне-то было какво, когда ты прогнал меня». Ему захотелось, чтобы Анна была сейчас здесь, чтобы она увидела его вместе с Сережей.

Женщины продолжали начатый до прихода Высотина разговор. Они спорили о том, должна ли жена знать дела своего мужа и вмешиваться в них.

— Значит, жена инженера должна изучать технику, жена врача — медицину?.. — спрашивала Наташа.

— Изучать специально необязательно, — ответила Полина, — так же как и мужу профессию жены. Но если люди любят друг друга, они постепенно проникаются общими интересами и умеют понять главное. А главное ведь всегда и во всяком деле — человек, человеческие взаимоотношения... Недавно мне Терентий Иванович рассказывал: командир соединения торпедных катеров объявил в приказе благодарность одному лейтенанту и его жене. В штабе вначале удивились. Но оказалось, что жена этого лейтенанта многое сделала, помогая мужу в воспитании моряков. Она была руководителем кружка художественной самодеятельности, помогала в комплектовании библиотеки, вместе с другими женами моряков оборудовала матросские кубрики, клуб...

— Мне с Михаилом хорошо. У нас профессиональные знания имеют семейное применение, — пошутила Любаша. — Я у него хозяйственности учусь — он ведь и во сне бредит заготовкой круп и квашеной капустой. А он у меня...

— А он у тебя? — Наташа улыбнулась.

— А он? Что ж, умение воспитывать детей может нам скоро пригодиться. — Любаша покраснела и повернулась к Высотину. — А вы почему молчите, Андрей Константинович?

Высотин мысленно примерял все, о чем говорилось, к себе и Анне.

— Согласен, согласен, Любовь Сергеевна, — сказал он. Потом разговор зашел о концерте приезжающих в Белые Скалы московских артистов, о новых книгах, поступивших в библиотеку, о кружке кройки и шитья...

Высотин сидел и слушал, не вмешиваясь в разговор.

Вскоре Любаша и Полина ушли. Посидев еще немного вдвоем с Наташей, Высотин сказал:

— Не дождусь я Анны Ивановны. А жаль. Теперь же скоро увидимся...

— Почему? — прервала недоуменно она.

— Служба, дела... — неопределенно ответил Высотин.

— Мне подумалось, что «Державный» куда-то переедут!

— Значит, не безразличен вам кто-нибудь из моих моряков?

Наташа смутилась, но тут же сказала, лукаво улыбувшись:

— Я подумала о моей сестре и о вас.

...Ночь над морем все более сгущалась. Пространство над кораблем будто заполнилось черной мглой. Звезды разгорались все ярче.

«О моей сестре и о вас»... «Что она хотела этим сказать? Что говорила ей Анна?» — думал Высотин. Окинув еще раз взглядом гавань, он уже собрался идти к себе в каюту, как заметил чью-то тень, появившуюся рядом с ним. Человек, скрытый мраком, молчал.

— Кто это? Что делаете? — спросил Высотин.

— Боцман Головенченко... Хозяйство свое проверял.

Высотин строго — ночь скрывала его неожиданно потеплевшие глаза — сказал:

— Разве мало дня? Не вижу оснований для ночных прогулок...

Послышалось глубокомысленное, солидное боцманское «хм», и Головенченко после длительного раздумья вдруг взволнованно произнес:

— Ночь-то необыкновенная, товарищ капитан третьего ранга! Последняя накануне учения... Проверка всей нашей работы... Я не знаю, как сказать... Только у меня на сердце — чудно! Так мальчонкой, помню, к заутрене пасхальной собирался... И радостно и чего-то боишься.

— Может быть, только я ведь на заутренях не бывал, — ответил Высотин. — Все-таки пора спать, боцман... Впереди большой день. Пойдемте!

Они вместе прошли по палубе. Из дверей камбуза падал свет. Вася Мошкин с красным, возбужденным лицом, небрежно вертя в руке кухонный нож, стоял, прислонясь к косяку плиты, опираясь ногой на край корзины, наполненной картофелем. Напротив него — кок, подбоченившийся, в сдвинутом на затылок белом колпаке. Кок громко и раздраженно говорил: «Что вы ко мне пристали, Мошкин?.. Пожалуйста, дайте особый продукт, я королевские блюда приготавливаю...» — «Эх, кок, понимаешь надо, какой завтра день, — возмущался Мошкин. — Надо нам первыми отличиться! «Продукты!» — передразнил он кока. — «Была бы курочка, а приготовит и дурочка». Вы показывайте свой талант, чтобы из обычных продуктов необыкновенный завтрак приготовить!»

Высотин постоял секунду, прислушиваясь, улыбнулся и прошел мимо.

### 3

Далеко позади остался берег. Начались учения. «Державный», неся у форштевня бурун, упрямо рассекает волны. Сильно качает. Ветер заносит брызги на ходовой мостик.

Серое, с включенными облаками небо кольцом замыкает горизонт вокруг корабля.

Необъятен и суров океан; водяные холмы возникают всюду — впереди, по бокам и позади «Державного», летит в воду пена с их гребней, и волны походят на пылящиеся известковые кручи.

Плакуша, уцепившись за поручни трапа, стоит у надстроек. Его потащивает, но он пересиливает себя. Когда

накатывается водяная громада, фельдшер закрывает глаза...

На «Державном» походная жизнь. Со шлюпок сняты чехлы, на палубе — ничего лишнего. Равномерно чередуются вахты, продолжают занятия и работы. Время расписано по минутам.

«Третий день в походе, — думает Плакуша, — и «бой» на встречных курсах с кораблем «противника» был, и отражение атак «вражеских» самолетов и торпедных катеров, и чего только не было, а конца учению не видно...» Фельдшер облизывает соленые от брызг губы и вздыхает.

Быстро темнеет. Вдали, на траверзе «Державного», показываются ходовые огни идущего параллельным курсом «Дерзновенного»; он буксирует щит. Постепенно силуэт «Дерзновенного» меркнет, его огни уменьшаются и скрываются за горизонтом.

«Наверное, будут стрельбы», — решает Плакуша. Он достает из кармана завернутый в бумагу ломтик соленой рыбы и начинает жевать: «Может, уймется тошнота».

В сгустившихся сумерках кажется, что волны и облака несутся над океаном попеременно друг с другом.

...В помещении командно-дальномерного поста, называемого для краткости «БДП», Высотин и Гаранин. Артиллерист в новой тужурке, выбрит, подтянут, надушен.

«Как жених перед решительным объяснением», — думает о нем Высотин.

Гаранин проверяет таблицы, схемы, перекладывая с места на место секундомер. Ведь именно ему здесь придется определять исходные, самые основные данные для наведения орудий на цель. Чувствуя, как волнуется на напряженное ожидание, и думая, что это волнение должно как-то прорываться у всех, Гаранин посмотрел на Высотина. У командира лицо усталое, будничное. И в «БДП» такая же спокойная, будничная тишина.

— Время начинать, — коротко говорит Высотин. Мерцают зеленоватые стекла приборов. Скользят по шкалам светящиеся стрелки...

— Есть начинать! — четко повторяет приказание Гаранин.

Высотин уходит.

На мгновение между тучами проглянула луна. Белевый свет заскользил по гребням волн и снил в морской пучине.

Будто водопад, обрушился тревожный звон: сверху, снизу, с боков гремят колокола громкого боя. «Державный» ложится на боевой курс. Через несколько мгновений начинает бить кормовое орудие; далеко в черном небе появляется напоминающее зонт облачко, оно рассыпается горящими ракетами, рядом вспыхивает второе облачко, третье... Гирлянда огней висит недолго на горизонте, затем гаснет. Но дальномерщики уже успели определить дистанцию.

Гаранин производит расчеты, потом уверенно передает команды.

...В недрах «Державного» заработали сложные механизмы, в центральном посту побежали стрелки по циферблатам, и слова команды мгновенно передались по электрическим проводам к приборам у орудий.

Зеленцов стоит у пушки. Темно вокруг; как светлячок — синяя лампочка у телефонного аппарата. Дальше над наводчиками — светящиеся диски приборов. Рядом

с Зеленцовым замочный, трубочный; остальных бойцов расчета скрывает мрак, видны только их черные силуэты, слышно их дыхание... Кренился палуба, потом медленно выравнивается и снова кренился.

Зеленцов уверен в своих подчиненных, а сердце его все же неспокойно. Да и как же иначе, если весь труд, учеба, долгие часы тренировок скажутся сейчас, в эти короткие минуты! «Вот так и в бою...» — думает Зеленцов. Старшина бросил взгляд на броневой щит, на то место, где прикреплена мемориальная дощечка.

В темноте ни дощечки, ни выгравированных на ней слов не видно. Но Зеленцову кажется, что он видит веселое, открытое лицо Петра Чайки, его живые и строгие глаза. «Эх, не ударим мы лицом в грязь, дорогой товарищ Петр Чайка!»

Звонит телефон. Зеленцов снимает трубку, потом поднимает руку и вдруг отрывистым движением рассекает воздух.

Гудок ревуна — выстрел.

Гудок ревуна — выстрел...

Напряженный, точный и красивый труд.

...Если в расчете Зеленцова стрельба — красивый, точный, но все-таки еще напряженный труд, то в расчете Ташыбаева это уже вдохновение. Самые сложные движения производятся так гармонично, легко, будто не требуют усилий, будто весь расчет — единый организм, единое тело, послушное, сильное, гибкое. Работа артиллеристов — настоящее искусство. Так оно и бывает всегда, когда люди достигают высших ступеней совершенства в своей профессии.

В ночной тьме, содрогаясь от гула машин и ударов волн, идет «Державный», стреляя из всех орудий главного калибра. Мечутся от качки стрелки по шкалам циферблатов, и наводчики на сиденьях, обтянутых кожей, крелясь вместе с кораблем из стороны в сторону, с мастерством виртуозов совмещают эти стрелки на приборах в одной точке.

Наводчику орудия Ташыбаева с каждым выстрелом все труднее и труднее владеть собой. Нестерпимо ноет голова. Вчера он крутил на корабельном турнике «солнце», сорвался и ушибся. Конечно, нужно было бы об этом доложить командиру орудия, но лучший наводчик не хочет отказаться от участия в стрельбах. «Ничего, выдержу, — думает он. Холодная испарина покрывает его лоб. — Никто не должен знать, не должен напрасно волноваться».

Выстрел. Еще выстрел...

Новая команда. Корабль меняет курс. От острой боли у наводчика на миг потемнело в глазах. Стрелки заметались по циферблату. Стон срывается с его пересохших губ. Вася Мошкин по боевому расписанию — заряжающий; он первый заметил, что с товарищем происходит что-то неладное. Но и Ташыбаев, кажется, все видит и все знает.

— Мошкин, замените, — приказывает он.

Вася взлетает на место наводчика. Сердце его переполняет гордость: «Это не в кают-компании — подать, принять!» Ни секунды промедления. Руки Васи уже лежат на штурвале, и, подчиняясь их легким и плавным движениям, выравниваются, сливаются воедино стрелки наводки. Сколько раз тренировал, учил Мошкина Ташыбаев, добываясь полной взаимозаменяемости в расчете.

Каждый из его бойцов теперь владеет всеми артиллерийскими специальностями.

Ревун — выстрел.

Ревун — выстрел...

У орудия появился Парамонов. Он посмотрел на наводчика, схватившегося руками за голову, и ему стало все ясно.

— Идите к фельдшеру, — приказал он.

Скомандовав «залп», Гаранин пустил секундомер, стал считать, выдав немного: «Ноль — раз», «ноль — два», «ноль — три», «ноль — пять»... Снаряды ложились хорошо. Радость захватила его. Гаранин перешел на поражение. Теперь уже волнение не мешало ему, а только обостряло его мысль, и он мгновенно, уверенно, безошибочно решал артиллерийские задачи, радуясь за себя и за своих великолепно работающих людей.

Когда стрельбы окончились, Высотин вызвал к себе Гаранина.

— Благодарю, товарищ лейтенант, за отличные проведенные стрельбы, — поздравил его Высотин и, подумав, добавил: — Всегда так стрелять!

#### 4

Ветер с каждой минутой все усиливался. Нос корабля то поднимался настолько, что нельзя было устоять на мостике, не держась за поручни, то опускался, зарываясь в волну, и тогда его винты с визгом рассекали воздух, как пропеллеры.

Замерив силу ветра, Кипарисов доложил Высотину:

— Двадцать метров в секунду — чистых девять баллов, порывы до десяти.

Будто в подтверждение этих слов, волна ворвалась на палубу, сорвала железный ящик и потащила его. Головенченко, пытавшегося закрепить ящик, накрыло с головой; с него сорвало фуражку и унесло ее за борт. Сам он еле удержался, уцепившись за трап. Задыхаясь от бьющего в лицо ветра, обрывая ногти, падая и вновь подымаясь, боцман и Донцов заделали отверстие сорванного вентиляционного грибка.

...Тяжело приходится людям боцманской команды: все они на палубе.

На ходовой мостик поднялся Петров.

— Разрешите доложить. — Петров старается держаться спокойно и браво, но в это время корабль сильно качнуло, и радист, взмахнув руками, падает прямо на Высотина.

— За поручни держитесь! — Сильная рука стоящего рядом Парамонова подхватывает радиста.

— Ну, что там такое? — спрашивает Высотин.

— Принята радиограмма. — Петров протягивает Высотину сложенный вдвое бланк.

— Докладывайте устно, — говорит Высотин.

— В районе Седые Буруны терпит бедствие пароход «Двина». Флагман приказал идти на спасение.

Высотин уходит в рубку к Россинскому.

— Вехи снесло, наверно, — говорит Россинский. — Как в такой шторм в Седые Буруны пойдешь?

— Все равно идти надо.

— Только не на корабле, а на Британских островах, — ворчит штурман.

— Вы сказали: Британские острова? — переспрашивает Высотин.

— Да, такая у нас поговорка когда-то была. Вы о поэте Минаеве слышали?

— Что-то слышал, — неопределенно ответил Высотин.

— Ну, а мы им в свое время зачитывались. Так вот была у него такая эпиграмма:

Джон Буль и бес — родные братья —

Сошлись и пили как-то грог.

— Скажи мне, есть ли вероятье,

Чтоб потонуть наш остров мог?

— Вы лишены такого горя, —

Ответил мрачно Вельзевул:

— Когда б ваш остров потонул,

То вновь им вырвало бы море...

Россинский закашлялся.

— Теперь понял, — Высотин невольно засмеялся, — сегодня вам нужен корабль, который бы море не принимало.

— Вот именно.

Показался свет маяка. Приближались Седые Буруны. Зачернели огромные скалы. К проходу между этими скалами устремился «Державный».

— Сцилла и Харибда, — сказал Россинский.

— Право руля!

— Одерживай!

— Лево руля!

Сильный удар волны — и, срезая вехи, «Державный» вошел в пролив.

И в ту же минуту позвонили из котельной:

— Трубки потекли...

— Этого еще нехватало! — сказал, помрачнев, Высотин.

#### 5

В котельной ровный и непрерывный гул от вентиляторов, шум, насосов, шипения форсунок. Электрический свет падает на цветные плиты кафельной палубы, на блестящие поручни скобтрапа, теряющегося в отверстии шахты. Тянутся у подволока и вдоль переборок толстые и тонкие трубы; часть из них покрыта асбестом, другие окрашены суриком — горячие и холодные, паровые и водяные магистрали.

Стебелев неотрывно следит за работой форсунок. В лицо его веет жаром от раскаленной топки.

Вдруг вздрогнули, вибрируя, переборки, и словно гром раздался в котельной, покрывая все остальные звуки, — это артиллеристы открыли огонь.

Корабль, дрожа всем корпусом, идет полным ходом. От орудийной канонады у Стебелева такое ощущение, будто кто-то непрерывно бьет тяжелыми железными палицами по палубе.

Стебелев тщательно регулирует пламя форсунок, подачу воздуха, поглядывая на бушующий огненный вихрь в топке.

Многое зависит от его умения и сноровки. Если котельный машинист держит пар на «марке», значит, у корабля нужный ход; от безукоризненной чистоты форсунок

и правильной подачи смеси мазута с воздухом зависит бездымное горение: над трубой боевого корабля не должно быть днем ни облачка дыма, ночью — ни единой искры. Стоит чуть зазеваться Стебелеву, и факел пламени у форсунок будет языкозат, слишком длинен или тускл, капли мазута, не сгорая полностью, улетят черными клубами и снопом искр в дымовую трубу; если Стебелев слишком усилит дутье, от избытка воздуха охладятся топочные газы, частицы мазута будут падать на подтопок, и там образуется нефтяной кокс.

Вахта подходит к концу, но Стебелев не ощущает усталости. Хотя и не признается он даже себе, а эту вахту чувствует себя счастливым.

Орудийные раскаты замолкли; снова мерный гул стоит в котельной. Стебелев подходит к медному, начищенному до блеска бачку, называемому моряками «лагуном», и жадно пьет тепловатую воду. «Значит, командир все-таки оценил меня, — думает он о Высотине. — Будь по-иному, не допустил бы к самостоятельной вахте... А боцман — тоже душевный человек... И Донцов, и Ташибаев...»

Стебелев возвратился к котлу и вдруг заметил, что ровное и белесое, как цвет соломы, пламя стало багроветь. Темные клубы обволакивали угол топки — там пробивалась вода. «Трубки потекли!» Стебелев поспешно перекрыл вентили форсунок. Огонь в топке погас...

— Что случилось? — раздался встревоженный голос старшины Салиева.

— Вот... — с отчаянием сказал Стебелев, — как куда ни приду, так неудача... — Он чертыхнулся.

— Трубки потекли от механических причин, вы хорошо стояли вахту, — сказал Салиев и коротко приказал: — Приготовить асбестовый костюм!..

Стебелев догадался о намерениях старшины. По инструкции полагалось выждать, когда котел остынет, и только после этого производить ремонт. Но у корабля не будет нужного хода, а теперь, в походе, дорога каждая лишняя миля пути, каждая минута времени. «Какие люди за вас поручились, не подведите их», — вспомнил Стебелев слова командира.

— Я сам в котел полез, — решил он. И когда старшина, получив по телефону разрешение от Махотина, хотел уже надеть на себя асбестовый костюм, Стебелев подошел и сказал:

— Разрешите мне, это моя вахта... — Просьба его прозвучала почти как требование.

— Хорошо, — поколебавшись мгновение, согласился Салиев, поглядев на решительное лицо матроса. «Справится, недаром я его учил».

...Медленно шло время. Из котла спустили воду. Стебелев начал одеваться. Салиев смазал ему лицо толстым слоем вазелина и забинтовал голову ветошью и бинтами, оставив только узкие щели для глаз. Стебелев взял стальные заглушки, молот и, повесив через плечо переносную лампу, полез в горловину коллектора, с которого уже успели снять крышку.

В раскаленном, похожем на узкий ящик коллекторе все кругом наполнил горячий, забивающий дыхание газ. В голове Стебелева шумело, красные круги плыли перед глазами, даже поднять веки, казалось, было выше человеческих сил. Тускло мерцала лампочка. «Что в ней толку? Или это слезы от жары застывают глаза?»

«Где они, поврежденные трубки?» Надо на мгновение представить себе отчетливо каждую деталь, чтобы безошибочно, почти наощупь найти их, как когда-то на тренировках в охлажденном котле. Но вот они, наконец, в малом пучке — одна над другой... две поврежденные трубки... Стебелев поднес лампочку, склонился над раскаленным металлом. «Воздуху, во что бы то ни стало воздуху!» Он медленно сделал выдох и, неуловимо повернувшись, высунулся из горловины.

С какой жадностью вдохнул он показавшийся чистым и свежим горячий воздух котельной! Сколько здесь людей — Парамонов, Озеров, рядом с ним Салиев. Стебелев улыбнулся им, забыв о том, что улыбки его за маской никто не увидит, и снова скрылся в коллекторе. Раз... два... донеслись глухие удары молота.

## 6

На ходовом мостике «Дерзновенного» стоит Светов и его замполит капитан Бабкин. Лицо у Бабкина усталое, он уже вторые сутки не спит.

Нелегко началась у замполита служба на «Дерзновенном». Крепко сдружившись с моряками, служившими в войну в морской пехоте и никогда не забывавшими о своих кораблях, он полюбил море по их рассказам. Поэтому Бабкин, оказавшись полгода назад в резерве отдела кадров, сам попросился на корабль.

Командир «Дерзновенного» встретил тогда замполита из пехоты недоверчиво. Отношение прославленного командира к замполиту нашло какой-то отклик и среди части экипажа. Светов не раз намекал Бабкину, что не позволит итти наперекор «морским гвардейским традициям».

Бабкин в первое время почти не спорил: он решил, что прежде, чем спорить, нужно изучить дело до тонкостей. Не обращая внимания на недружелюбие Светова, он упрямо учился у матросов и офицеров. Подружившись со штурманом и командиром артиллерийской боевой части, он часами простаивал около них. Урывая время от сна, читал книги по военно-морскому делу, а с корабля уходил только по вызовам политотдела.

За короткий срок многие на «Дерзновенном» успели полюбить замполита, только Светов не изменил своего отношения.

Между тем Бабкин глубже других увидел основную беду службы на «Дерзновенном». Принципу «не выносить сора из избы» постепенно начали следовать командиры многих подразделений. У офицеров появилось стремление строить службу на показной морской лихости. «Полный порядок», «все по-гвардейски» — за этими и подобными им словами порой скрывались ничем не оправданное напряжение всех сил и ненужный риск.

Высказав эти соображения Светову, Бабкин натолкнулся на насмешку.

— Вы называете это показной лихостью, а по-моему лихость, как бы она ни называлась, есть лихость и только, а для меня еще — выражение высокой морской выучки; вы толкуете о неоправданном напряжении сил, а я только так умею готовить людей к испытаниям, — говорил Светов. — Вы заявляете, что я часто иду на ненужный риск, а я не могу считать рискованным то, что делаю всегда с успехом. На каждого своя мерка. Светов-

ская мерка особая. Хотите служить на «Дерзновенном» — привыкайте к ней. Она для всех у нас на корабле обязательна.

Слова об особой мерке нельзя было считать пустой похвалой. Светов был действительно талантливым моряком, обладавшим большой работоспособностью. И сам Бабкин порой восхищался его находчивостью и дерзкой смелостью в море.

Поэтому, не видя и не понимая еще глубоких корней световского поведения, замполит не видел и достаточных оснований для того, чтобы открыто противопоставлять свою точку зрения командирской. Замполит решил просто на отдельных конкретных фактах доказывать Светову свою правоту, надеясь постепенно завоевать его доверие. Однако и в этом Бабкин мало преуспел. Показателем был случай со Стебелевым. Когда замполит услышал о том, что Светов собирается списать нерадивого матроса, он впервые резко запротестовал.

— Я видел, товарищ командир, как на фронте люди, считавшиеся кое-кем нерасторопными и нерадивыми, потом становились отличными бойцами и даже героями. Никогда и ни за что я не соглашусь признать нашего советского человека несправивым. — Бабкин был взволнован и рассержен.

— Значит, на этот раз вы решились все-таки протестовать? — насмешливо спросил Светов.

— Да, не могу примириться с вашим решением.

— Хорошо, — усмехнулся Светов, — я пойду на компромисс... Но это, запомните, будет единственный раз... Сделаете за месяц Стебелева настоящим моряком-гвардейцем — мой вам поклон.

Трудно в таком деле, как воспитание, вообще определять сроки, а срок, установленный командиром «Дерзновенного», к тому же был до смешного мал. Да и как было Бабкину заставить Стебелева измениться, как было раскрыть его душу, если непосредственный начальник Стебелева — старшина группы котельных машинистов, беря за образец отношение Светова к матросу, называл его разгильдяем. О некоторых фактах неправильного подхода к людям на «Дерзновенном», конечно, знали и в штабе и в политотделе. И Светов не раз получал замечания от Серова и Звенигорова. Но, выполняя поступавшие свыше приказания в той мере, в какой они касались единичных случаев и фактов, Светов оставался прежним во всем остальном. Конфликт между замполитом и командиром стал усиливаться с каждым днем. Все трудней становилось Бабкину проводить в жизнь требования Светова, с которыми он часто внутренне не был согласен. О нездоровой атмосфере на «Дерзновенном» узнал Звенигоров. В конце концов взрыв должен был произойти. Он и произошел на теоретической конференции.

С волнением ждал Бабкин после конференции прихода Светова на корабль. Однако, вернувшись на «Дерзновенный», Светов замполита к себе не вызвал и сам к нему не зашел.

Он ходил по кораблю мрачный и насупившийся, ко всему присматривался, пожимал плечами, но молчал, ни во что не вмешивался, будто сдал дела старшему помощнику.

Офицеры на корабле терялись в догадках, Бабкин нервничал, но все еще выжидал.

Наконец Светов решительно вошел в каюту замполита и сказал:

— Пойдемте, хочу показать вам наш корабль.

Бабкин пошел неохотно, не понимая намерений Светова. «Ну, ладно, — подумал он, — если ты еще ничего не понял, так мы уж схватимся как следует. Больше старому не бывать. Кончились «особые световские мерки».

Командир и замполит поднялись на палубу. В это утро шла тренировка гребцов на шлюпках. Видно было, как, будто подчиненные единой воле, дружно взлетали и равномерно опускались весла, как стремительно продвигалась вперед шлюпка.

— Как находите, замполит? — спросил Светов. — Хорошо ведь гребут, а?

— Хорошо... — согласился Бабкин. Он решил сохранять спокойствие до конца.

— А сейчас увидите другое... — и Светов приказал сменить на шлюпке гребцов, назвав наугад несколько фамилий матросов.

Светов, прищурив свои без того узкие глаза, наблюдал за тем, как неуверенно рассаживались по банкам новые гребцы, как медленно отваливала шлюпка от корабля.

— Видели?! — обратился он снова к замполиту и, не дожидаясь ответа, бросил: — Пойдемте дальше.

Светов направился к командиру артиллерийской боевой части. Лейтенант при виде Светова и Бабкина вскочил и вытянулся в струнку, щеголяя своей выправкой.

— Как дела? — спросил Светов.

— Полный порядок, товарищ командир, — уверенно и чуточку небрежно, как говорят о чем-то бесспорном и хорошо всем известном, ответил лейтенант.

— А если я на следующих ученьях дам вводную: «Вы убиты, и ваши командиры орудий все убиты», — тоже будет полный порядок?

— Н-не знаю, — растерялся лейтенант.

— Слышали? — снова спросил Светов замполита и, повернувшись на каблуках, вышел из рубки.

Бабкин спокойно шел за Световым из одной боевой части в другую, слушал, как беседует Светов с теми офицерами и старшинами, которых особенно любил и до сих пор ставил всем в пример. Всюду повторялось примерно одно и то же: всюду по докладам выходило, что служба идет образцово, что во всем полный порядок и тревожиться ни о чем не надо. И всюду неожиданными вопросами Светов ставил их втулик.

Наконец Светов привел замполита в свою каюту и, как всегда, прямо, без обиняков сказал:

— На конференции меня по заслугам побили. Надеюсь, вы убедились в том, что я все понял. Теперь давайте потолкуем, как будем все круто поворачивать.

«Даже в ошибках признался по-своему, по-световски... Гордый», — подумал с удовольствием замполит. Он все-таки любил своего командира за яркий, своеобразный характер и понимал, чего стоило Светову даже такое, как сегодня, признание своей вины.

— Я думаю, Игорь Николаевич, — сказал Бабкин, — круто поворачивать не надо. Служба в общем у нас идет как полагается.

Светов, шагавший по каюте из угла в угол, остановился.

— Как это не надо? — спросил он. — Вы что, не видели, что они привыкли пыль в глаза пускать? В Све-

товых играют. Вон артиллерист наш даже картавить под меня начал. Что ж, вы считаете, меня надо изменить, а мои подчиненные прежними останутся?

— Ваши подчиненные изменятся, как только изменитесь вы.

— Так ли, замполит? — Светов на минуту задумался.

— Да, — продолжал Бабкин, — люди у нас к образцовой исполнительности приучены. Это не так уж мало. А о том, чтобы знания их углубить, чувство личной ответственности повысить, инициативу развить, мы позаботимся. С коммунистами, с комсомольцами хорошо бы вам по душам потолковать. Ну, и на «Державном» побывать надо, право, найдете, что перенять.

Светов одобрительно кивал головой, слушая замполита, однако последняя фраза его задела, и он спросил Бабкина:

— Опыт «Державного»? Высотинский? А что у них, в самом деле так хорошо?

— Лучший, по-моему, корабль теперь в соединении, — прямо сказал Бабкин.

— Что же, и у них будем учиться, — отрубил Светов.

...«Дерзновенный» вошел в пролив. Светов и Бабкин продолжали стоять рядом, плечом к плечу. Капли дождя, стекая с фуражки немного наклонившегося замполита, соскальзывали на палубу по плащу командира.

Сквозь пелену дождя и тумана показался, наконец, силуэт каботажного судна, терпящего бедствие.

Положение «Двины» было отчаянным. Крен достигал сорока градусов. Дрейфующее судно ежеминутно могло разбиться о рифы.

— Во-время пришли, — сказал Бабкин. — Где ж это «Державный» задержался?

— Все шлюпки и катер на воду! — отдал приказание Светов. Он с удовольствием подумал о том, что пришел все-таки раньше Высотина.

— Прямо по носу «Державный», — доложил сигнальщик.

7

Стебелев лежал один в каюте фельдшера. Кожа на всем его теле горела, слезились воспаленные глаза; даже простыня, которой он был укрыт, причиняла боль при малейшем движении. Он откинул простыню с груди; стало как будто легче дышать.

«Державный» переменял курс, усилилась бортовая качка. С полки, где Плакуша хранил книги, вывалился томик Пушкина и пополз по кренящейся палубе, шестая страницами. Дребезжали медицинские инструменты в шкафчике, дверца которого все время хлопала.

«Обидно, что вышел из строя», — подумал Стебелев. Ему захотелось пить. Он потянулся рукой к стоявшему на столике графину, закрепленному в деревянной стойке, вытащил его, поднял и хотел поднести ко рту. Однако в этот момент «Державный» сильно качнуло, и графин вырвался из рук.

Стебелев прислушался к звону бьющегося стекла, потом к тихому журчанью растекающейся воды.

Пить захотелось еще больше. Но никто не приходил. От этого у него появилось чувство обиды. И хоть Стебелев

знал, что все матросы заняты делом, он с горечью, по старой привычке, стал думать о том, что, вероятно, о нем, Стебелеве, забыли и что он никому здесь не нужен.

Слышны были удары волн о борт корабля, топот ног по палубе. Бортовая качка сменилась килевой, потом корабль замедлил ход и, стопоря машины, остановился. «Подшли, наверное, к «Двине», — подумал Стебелев, представляя себе, как идет спасение людей с терпящего бедствие корабля. Прошло еще несколько минут, и дверь каюты распахнулась. Вошел Парамонов в мокром плаще; лицо у него тоже было мокрое, обветренное.

— Ну, как себя чувствуете? — ласково спросил замполит.

— Хорошо, товарищ капитан-лейтенант. — Стебелев сился подняться.

— Лежите. Молодец вы, Стебелев, подвиг совершили.

— Какой подвиг? — тихо переспросил Стебелев.

— Это был подвиг, — твердо повторил Парамонов. — Так мы и напишем вашим друзьям из детского дома.

8

Высотин увидел дрейфующую «Двину» почти одновременно со Световым. Сначала показались раскачивающиеся белые мачты, потом сливающийся с цветом штормового океана накренившийся черный корпус судна.

«Двина» приближалась с каждой минутой. У ее высокого поднятого над водой левого борта толпились пассажиры. Среди них были женщины и дети.

Судно получило пробоину еще в начале ночи. Вода проникла в трюм и машинное отделение. Аварийный пластырь, который пытались завести моряки, сорвало. Помпы не успевали откачивать воду.

Подойти и пришвартоваться к «Двине» вплотную было невозможно. Высотин отчетливо представлял себе опасность, которой мог подвергнуться катер и шлюпки при попытке снять пассажиров с терпящего бедствие судна. Надо было все тщательно продумать и тщательно отобрать людей.

На командирский мостик поднялись почти одновременно Озеров и боцман.

— Разрешите мне идти на катере, — сказал Озеров, — разрешите команду отобрать из коммунистов и комсомольцев.

Высотин посмотрел на стоявшего рядом Парамонова, и замполит одобрительно кивнул головой.

— Прошу дозволить мне идти на шлюпке. В боцманской команде все охотники, добровольцы, — прогудел Голвенченко.

Снова Высотин согласился не раздумывая.

Маленький катер с заведенным мотором повис за бортом «Державного». И вот уже катер в облаке брызг и пены, зарываясь в волны, помчался к «Двине». Вслед за катером на таях спустились шлюпку. На ее корме спокойно и недвижно сидел боцман...

Катера «Державного» и «Дерзновенного» одновременно подошли к борту «Двины». Изо всех сил отталкиваясь исцарапанными в кровь руками от стальной обшивки судна, матросы удерживали катера у его борта.

Озеров первым поднялся на палубу «Двины».

Он увидел жавшихся друг к другу, цеплявшихся за поручни и леера пассажиров. Смертельно уставшие люди с трудом удерживались на накренившейся скользкой, как ледяная гора, палубе. Все они были до крайности измучены штормом и морской болезнью. Однако вот уже сутки никто не спускался в свои каюты. Там, внизу, иллюминаторы были задраены, провода перегорели после короткого замыкания, и прислушиваться в полной темноте и одиночестве к ударам волн, от которых трещала обшивка корабля, казалось людям, не привыкшим к морю, свыше человеческих сил.

— Приготовиться к посадке! — крикнул второй помощник «Двины». Но никто из пассажиров не двинулся с места.

Они с тревогой смотрели на два крохотных суденышка, плясавших в пене и брызгах у борта «Двины». Скользящая, наклонная, уходящая из-под ног палуба казалась им все-таки, несмотря ни на что, самым надежным и привычным прибежищем.

Пассажиры ехали в Белые Скалы из далеких центров страны, и многие впервые видели море.

Озеров понял, что надо во что бы то ни стало подбодрить этих людей, внушить им мысль, что испытания для них уже кончились.

— Все в порядке, граждане! — крикнул он весело. — Военные моряки приглашают вас завтракать в свои кают-компании.

Пассажиры испытующе смотрели на уверенное, улыбающееся лицо лейтенанта и, не найдя в нем признаков тревоги или сомнений, которые не оставляли их, начали успокаиваться сами.

— Поторопливайтесь, — громко, но спокойно продолжал Озеров. — Не то завтрак перестоятся, коки в обиде будут.

Какая-то женщина, прижавшая к груди ребенка, первая сделала шаг вперед.

Подхватив ее за талию, помогая удержать равновесие на уходящей из-под ног палубе, Озеров повел ее к штурману, бросив по дороге капитану парохода:

— Обеспечьте порядок при посадке!

Бережно принимали детей на катера матросские руки, заботливо усаживали женщин. Пассажиры-мужчины, несколько оправившись от пережитого, сами помогали посадке. Вскоре катера отправились в первый обратный рейс. К «Двине» подошли шлюпки.

На «Державном» уже ждали спасенных. Матросы — артиллеристы, минеры, торпедисты — принимали пассажиров, помогали им взобраться на борт корабля. Санитары вели людей в кают-компанию, где временно устроен был лазарет и всем командовал будто преобразившийся Плакуша. Он словно и не знал никогда морской болезни. Фельдшер энергично командовал санитарями, сам перевязывал окровавленные руки пассажиров, смазывал иодом царапины, растирал, массировал, выдавал лекарства и, покрикивая на колеблющихся, заставлял выпивать по рюмке спирта всех взрослых без исключения. Плакуша был распорядителем без суетливости и невозмутимо хладнокровен. Мошкин мотался как угорелый с камбуза в кают-компанию и обратно, угощая гостей горячим чаем и бутербродами. В кубриках на койках расстилали чистое белье. Петров в рубке передавал под диктовку Кипарисова радиogramмы, информируя обо всем флагмана.

...Высотин и Парамонов с мостика наблюдали за безостановочно курсировавшими катером и шлюпкой. Всякий раз, когда волна скрывала от них утлые, переполненные людьми суденышки, сердце сжималось и перехватывало дыхание. К счастью, однако, все шло благополучно. Дважды уже сменялись команды катера и шлюпки: слишком холодны были волны, слишком велико напряжение. Даже боцман и Донцов, переодевшись, согревались в кубрике. Только Озеров попрежнему оставался на катере. И у Высотина все нарастало в душе доброе чувство к молодому лейтенанту, сразу понявшему, где настоящее место секретаря партбюро в трудную минуту.

Небо постепенно начинало светлеть. Сквозь туман пробилась первая лучи солнца, когда катер и шлюпка с «Державного» пошли в последний рейс. «Державенный» готовился взять «Двину» на буксир.

## 9

Почти все пассажиры с «Двины» были уже на «Державенном» и «Державном». Катер «Державного» возвращался из последнего рейса; глухо, словно из последних сил, надрывался его мотор.

Кипарисов за ночь продрог, устал и до того накурился, что чувствовал тошноту. «Хотя бы поскорее все закончить и немного отдохнуть», — думал он, глядя на катер, подходивший к борту корабля там, где был спущен штурман. Сильнее застучал мотор катера. Послышался веселый голос Озерова: «Всех забрали... Донцов, помогите женщине... Сейчас, товарищи, чаем напоим, в постель уложим!»

На последнем катере было всего четыре пассажира. Взгляд Кипарисова остановился на фигуре высокой женщины в расстегнутом осеннем пальто. Что-то знакомое почудилось ему. Он всмотрелся внимательнее: красивый, правильный овал лица, глаза полузакрыты, видно, очень устала, на груди распустившаяся коса... «Да ведь это Мария!.. — Кипарисов растерялся. — Откуда, зачем?» Он хотел было подойти к Марии тут же, но, пересилив себя, отошел от борта и приказал боцману:

— Этой женщине предоставьте мою каюту. — Скрывшись за надстройками, он поднялся на мостик. «Прежде чем увидеться с Марией, — решил он, — я должен все хорошенько обдумать. На что она надеется? Неужели не понимает, что если я не вызвал ее даже тогда, когда еще жива была Светлана, то теперь и подавно между нами все кончено».

На мгновение у Кипарисова появилась мысль о том, что Мария красива и что, раз у него с Анной ничего не получилось, хорошо бы иметь возле себя преданную ему, любящую женщину. Однако он сразу же отогнал эту мысль. Надо было трезво решить важные вопросы: как представить Марию офицерам «Державного»? Как держаться с ней? Как уговорить ее в ближайшее время уехать обратно?

Решение пришло быстро. Представить как хорошую знакомую, держаться так же ровно и просто, как с хорошей знакомой, сразу дав ей понять, что их прошлое — всего только ни к чему не обязывающие воспоминания, пообещать навестить ее в Белых Скалах, где она может остановиться в гостинице... Этого пока достаточно. Надо



дать ей время все понять. «Жить буду в каюте Гаранина, он может пока перебраться к Озерову».

Мария, узнав, что ее помещают в каюте Кипарисова, хотела было отказаться от этого приглашения и отправиться вместе со своими спутниками в кают-компанию, но потом передумала. «Лучше, чтобы сразу же все стало ясным до конца». Она раскрыла свой чемодан, сняла с себя мокрое платье, быстро переделась.

Она уже укладывала косы в высокую прическу, когда постучался Кипарисов.

Как ни подготавливала Мария себя к этой встрече, она невольно вздрогнула. По ту сторону тонкой перегородки стоял человек, которого она все еще любила.

Кипарисов вошел спокойно.

— Здравствуй, Мария. — Он сказал это так, будто они расстались только вчера.

— Здравствуй, Ипполит, давно не виделись. — Она протянула ему руку.

Он пожал ее холодную и мягкую ладонь и, предложив ей сесть, сел сам.

— Как устроилась?

— Ничего, хорошо... — Она никак не могла справиться с прической, руки не слушались ее. «Когда же, когда он спросит о Светлане, когда вспомнит о ней?!» — думала Мария.

— Ветер утих, ты можешь выспаться, — сказал Кипарисов. Он по привычке откинулся на спинку кресла.

— Ты получил мое письмо? — Мария и теперь все время думала о дочери, о последних минутах ее жизни. — Она болела всего три недели... — Мария поглядела на мутное и серое от дождя стекло иллюминатора, на свинцовые волны, видневшиеся сквозь потоки воды.

Кипарисов тяжело вздохнул и опустил голову:

— Ее нет... Напрасно терзать самих себя...

— Да... Ты прав... — Ей хотелось расплакаться.

— Ты надолго к нам?

— Я очень надолго в Белые Скалы...

Кипарисов поднялся и зашагал по каюте. Мария вдруг догадалась о причине его волнения.

— Я не к тебе, — сказала она.

— Вот как!..

— Я кончила судостроительный техникум и получила назначение на верфь.

— Удивительно! — В голосе его было сомнение. — Значит, случайность?

— Да, случайность... — Конечно, это не было простой случайностью. Четыре года назад Мария избрала специальность, которая сближала бы ее с ним, с его интересами. Год назад она дала согласие ехать в Белые Скалы ради Светланы, а теперь, после ее смерти, отказаться от назначения считала бы трусостью. Но стоило ли об этом говорить?

— Удивительные бывают случайности, — сказал Кипарисов.

— Видно, бывают... — Мария вдруг почувствовала себя страшно усталой от этого разговора. «Он красивый, но неприятный, — подумала Мария, — и глаза у него всегда смотрят одинаково, будто за зрачками пустота. Как это я раньше этого не замечала».

— А я решил — ты ко мне... — Ему вдруг стало обидно, что в тоне ее проскользнуло равнодушие. «Но зачем я это сказал?» — подумал он.

Мария посмотрела удивленно:

— Я всегда говорю правду...

Он поднялся.

— По приказу флагмана мы должны вас высадить в бухте Звездочка. Оттуда вас довезут в Белые Скалы на автобусах. Но ты успеешь выспаться.

— Да, наверное, успею...

Кипарисов повернулся и вышел.

## 10

Учения продолжались еще несколько дней. «Державный», находившийся в автономном плавании, попал в полосу штормов. Трое суток боролся корабль со свирепым ветром. На четвертые, когда океан утих, «Державный», наконец, вошел в маленькую и глухую бухту Казацкую. Здесь Высотин хотел отстояться, дать экипажу небольшой отдых, заодно пополнить запас воды — больше ничего в этой бухте нельзя было получить, — но вечером поступило приказание итти на рандеву с флагманом.

На корабле ощущался не только недостаток воды, и кончились свежие продукты; топливо тоже было на исходе. Высотин по радио запросил порт.

— Не успеют подать к утру, — скептически заметил Кипарисов, протягивая на подпись Высотину радиограмму. — В интендантстве — известная канцелярия. Зря вы тогда наказали боцмана... Тот случай хотя и не имеет отношения к сегодняшнему нашему положению, но в принципе боцман был прав.

— Вы думаете?

— Я убежден.

Высотин, конечно, знал, что интендантству нелегко обеспечить «Державный» в несколько часов всем необходимым. Да и расстояние от базы до бухты Казацкой было немалое. Но если бы Высотин чувствовал, что Кипарисов волнуется так же, как и он, командир простил бы своему старшему помощнику его скептицизм. Однако в голосе Кипарисова он уловил оттенок какого-то злорадства. И это был уже не первый случай, когда он ощущал скрытое недоброжелательство со стороны старшего помощника. Много раз Высотин пытался найти общий язык с Кипарисовым, но тот держался подчеркнуто вежливо и официально. Он редко высказывал свое неодобрение, но, и не высказывая его, умел подчеркнуть, что является только исполнителем чужих приказаний. Так не могло продолжаться бесконечно. И Высотин решил вызвать, наконец, Кипарисова на откровенность.

— Я вас не понимаю, Ипполит Аркадьевич. Вы что, радуетесь тому, что «Державный» находится в затруднительном положении?

— Какие у вас основания так говорить? — Кипарисов отступил на шаг, глубоко обиженный. — Мне дорога честь «Державного».

— Хорошо, может быть я неправильно выразился, но мне кажется, что вы радуетесь возможной ошибке Высотина. Вам вообще не нравятся Высотин. Так ведь?

Кипарисов отвел от Высотина глаза и ничего не ответил.

— Коммунист должен говорить прямо и открыто, — продолжал Высотин, — о том, что он считает вредным для

общего дела. Я настаиваю на этом, понимаете? Либо мы раз навсегда разрешим наши недоразумения, либо...

— Хорошо, будем откровенны. — Кипарисов сел. — Я думаю, товарищ командир, что второе «либо» лучше для нас обоих.

Кипарисов сам давно готовился к решительному разговору. Правда, он мыслил его по-другому, но, может быть, так даже лучше.

— Я не вижу ничего вредного или плохого в ваших поступках, я ценю вас как... — он замялся на одно мгновение, — как отличного командира. Вы, надеюсь, тоже не имеете ко мне претензий как к офицеру и моряку, но мы, говоря по-граждански, «не сработались»...

— Дальше. Выводы? — спросил Высотин.

— Обычно в этих случаях расходятся мирно... Я попрошусь на другой корабль потому, что не так мало прослужил старшим помощником.

— Вы хотите, чтобы я ходатайствовал о предоставлении вам должности командира корабля?

— Я имею на это право.

— Нет! — резко ответил Высотин.

— Разве я плохо знаю дело?..

— Дело вы знаете хорошо. — Высотин задумался. — Но вы единственный человек на «Державном», которого я плохо знаю, души вашей не чувствую.

— Ну, это уже что-то личное, субъективное. — Кипарисов пожал плечами.

— Нет, не личное. Я убежден, что душа коммуниста должна чувствоваться и проявляться во всем — в любом деле, в любом разговоре.

— Я не заслужил оскорблений! — Кипарисов поднялся. Поднялся и Высотин.

— Погодите... — Он с трудом подбирал нужные слова. — Поймите меня правильно: я не сомневаюсь, что вы, как и все советские люди, любите Родину, готовы отдать за нее жизнь, любите по-своему флот, корабль... Но я не убежден, что вы проверяете этой большой любовью каждый свой поступок, каждый, — подчеркнул он, — порой, может быть, мелкий, каждый свой день, отношение к людям, одним словом, все. Я не убежден, что личное у вас всегда совпадает с общим, определяется им, а без этого нельзя быть самостоятельным руководителем и воспитателем людей, ответственным за их судьбы.

Кипарисов плохо слушал Высотина. Он слышал только, что командир оскорбил его, а теперь еще вызывает на какой-то сложный и ненужный, выворачивающий душу разговор. Кипарисов не хотел этого разговора и поэтому решил опять скрыться за официальной служебной отношением.

— Разрешите быть свободным? — спросил он, едва Высотин кончил.

— Что ж, вы свободны. — Командир сделал нетерпеливое движение рукой.

Когда Кипарисов ушел, Высотин пригласил к себе Парамонова и рассказал ему обо всем, что произошло между ним и Кипарисовым.

— Прав я или нет, Николай Николаевич? — спросил он.

Парамонов задумался.

— Я попробую еще сам поговорить с ним, — сказал, наконец, замполит.

На рассвете в дверь каюты командира «Державного» осторожно постучал боцман. Не дождавсь ответа, он тихонько приоткрыл дверь. Высотин сидел в кресле. При свете настольной лампы тускло поблескивали золотые погоны на его кителе. Пальцы Высотина удерживали погасшую папиросу. Голова свесилась на грудь, глубокая складка залегла у сжатых губ. Высотин спал сном смертельно уставшего человека.

— Товарищ капитан третьего ранга! К вам офицер из порта. Разрешите? — негромко спросил боцман.

— Спит... Ну и пусть спит! Его беречь надо. В другой раз увидимся, — произнес кто-то за спиной боцмана.

— Евтерев? — Высотин проснулся и сразу обрадованно вскочил. — Дружище! Ты!

— Подвез тебе масло сливочное, овощи, крупу. Баржа с мазутом скоро подойдет. Живи! — грохотал Евтерев. — А то ведь совсем отоцал!

— Зато уж ты, Михаил, скоро будешь похож на портовую бочку. — Высотин улыбнулся.

— Толстею... толстею... — весело сокрушался Евтерев. — Только тут уж ничего не поделаешь. Всем интендантам такими быть и полагается. Толстые люди — добрые...

— Садись, Михаил, потолкуем, — сказал Высотин. Он наскоро умылся, приказал Мошкину принести в каюту крепкого золотовского чаю.

Высотин слушал своего шумного и веселого приятеля, все время вспоминал об их первой встрече в Белых Скалах и думал, является ли его шумная веселость такой же наигранной, как и тогда, или теперь она естественна.

— Как жена? Здорова? — спросил он осторожно.

— Здорова. А что, понравилась она тебе? — Евтерев поднял глаза от блюда.

— Понравилась. Очень, — чистосердечно ответил Высотин.

— И ты ей понравился. Я даже приревновал. Только ты не думай, — добавил он, увидев недоумение в глазах Высотина, — ты обязательно приходи к нам. Мы ведь душа в душу живем.

— Она теперь, кажется, в детском саду работает? — спросил Высотин.

— Слышал уже?.. Я думаю, дело хорошее... особенно для будущей матери, — сказал Евтерев. — А от кого слышал?

— Я ведь с ее начальницей хорошо знаком. И с женой твоей у нее еще раз встретился.

— У Наташи, значит. — Евтерев задумался. — Погоди, это не ей ли колечко было предназначено?

— Что ты, Михаил!

— Ты уж признавайся, не лукавь...

Высотин открыл ящик и вытащил оттуда маленькую, обтянутую синим бархатом коробочку с кольцом.

— Для кого же покупал? — удивился Евтерев.

— Для Анны, сестры Наташиной, — признался Высотин, — только держу для подходящего случая.

— До решительного, значит?

— До решительного... — усмехнулся Высотин и сунул футляр с кольцом в карман кителя.

Евтерев допил чай, отодвинул блюдо.

— Счастливей ты человек, Андрей, все к тебе валит... Мой сосед, Терентий Иванович, тебе прямо дифирамбы поет. Да один ли Золотов? Я вот кораблям и прошлую ночь напролет продукты развозил и узнал, что на «Державном» партийное собрание готовят об опыте создания отличных отделений и боевых частей. Тебя гвардейцы хотят докладчиком пригласить. Здорово! Заслужил, значит.

— Перехваливают. — Высотин смутился. — Ты мне лучше о себе скажи — все еще несчастливцем себя считаешь? Как это ты тогда сказал: «Укатали сивку крутые горки». Прямо будто по живому телу меня полоснул.

— Не вспоминай, Андрей, и не бойся, не укатили... Я ведь много о нашем разговоре думал и за себя стыдился. Книгами по товароведению обзавелся... Ну, и не то чтобы по кораблю тоска прошла, а все-таки нашел свой интерес.

Когда разгрузка баржи закончилась, офицеры обнялись на прощанье.

— «Обмоем» новорожденного? Пригласишь? — спросил Высотин.

— Вместе с Анной Ивановной тебя позову, — засмеялся Евтерев, — дай только срок.

...Через некоторое время «Державный» вышел из бухты, а на рассвете следующего дня в затерянной среди волн географической точке океана произошла назначенная флагоманом встреча.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

В первый выходной день после возвращения «Державного» с учений Плакуша и Наташа проводили вечер на взморье. В сумеречной тишине лежал заштилешный океан. Фельдшер сильными ударами весел гнал «тузик» вдоль берега. Наташа сидела присмирившая, со строгим, сосредоточенным лицом. Опустив руку за борт, она задумчиво пропускала между пальцами струящуюся воду и молчала. Плакуша только что объяснился ей в любви.

Растерявшись, она не знала, что ему ответить.

— Вы обиделись? — упавшим голосом спросил он.

— Гребите к пристани...

Он схватил весла и стал с ожесточением гребсти, а она, отвернувшись, глядела на воду. Осенние рыжие медузы при приближении лодки старались уйти в глубину, блестящими тенями скользили стаи рыб, проплывали водоросли, прибитые течением к берегу. Пушистые, почти прозрачные облака смутно отражались в воде, и Наташа, глядя на них, думала о жизни, о себе самой, о Плакуше. «Он милый и хороший человек. — Она украдкой посмотрела на него. — Какое у него грустное лицо». — Ей стало жаль его.

Выйти замуж за Плакушу? Об этом Наташа не думала. С первых дней знакомства она относилась к нему покровительственно, а порой насмешливо; вертела им, как хотела, а он послушно исполнял все ее желания и капризы. Она же давным-давно внушила себе, что по-

любит только большого, смелого и сдержанного человека, подобного, например, Высотину. И все же, сама того не замечая, она день ото дня все больше привязывалась к Плакуше. Помимо воли, он нравился ей именно своей покорностью, застенчивостью, за которыми ощущалась внутренняя чистота. Наташа открывала в его характере все новые привлекательные черты. Когда Плакуша приходил в детский сад, дети обступали его, и он охотно возил ребят на спине, играл с ними в жмурки, строил им песочные домики. Когда у него появились успехи в морской службе, Наташа почувствовала даже уважение к его настойчивости, хотя и продолжала над ним посмеиваться. А недавно он сказал ей: «Зимой буду готовиться в академию, хочу стать врачом. Верьте, Наташа, я свое слово сдержу...»

«Нет, он совсем не беспомощный, — продолжала думать Наташа, — только рядом с ним должен быть человек, который будет направлять его, и это, должно быть, очень хорошо — всегда быть с ним и заботиться о нем».

Показалась пристань.

Плакуша ловко провел «тузик» между кормой баржи, вымазанной мазутом, и высоким бортом стоящего рядом рыболовецкого сейнера, от которого шел сильный запах рыбы и бензина. Наташа ахнуть не успела, как фельдшер уже выскочил на пирс, закрепил лодку и, протягивая руку, сказал:

— Сходите, Наташа!

Не зная, что еще сказать ей, он молча шел рядом.

«Вот какая, значит, любовь...» — продолжала думать Наташа. Она никак не могла себе представить, что нежное чувство заботливости и покровительства, сродни тому, которое она испытывала ко всем детям из детского сада и которое она бессознательно переносила на Плакушу, и есть любовь. А сейчас с каждой минутой это чувство росло и становилось каким-то очень большим, светлым и волнующим.

Она поглядела на смущенное лицо Плакуши, и ей вдруг стало неудержимо весело. «Как он не понимает, не догадывается, что уже все мною решено. Что он повесил голову?» Она просунула свою руку ему под локоть и нежно и лукаво спросила:

— Валерий Александрович, а где мы будем жить?

— Жить?! — прошептал Плакуша, чувствуя, что он весь слабеет от неожиданно свалившегося на него счастья. — Наташа, вы согласны... вы?... — Он сжал ей руку.

— Милый Валерий Александрович, на нас смотрят прохожие. — Она снова взяла его под руку. — Я должна посоветоваться с Анной, а вы со своими родными...

— Матушка моя обещала приехать... Квартиру я выхлопочу! Что творится у меня на душе! Наташа! — Ему хотелось прижать ее к себе, поцеловать...

Показался двухэтажный дом, знакомая Плакуше железная, с копыцами калитка. С балкона свисали побуревшие листья плюща, светились в сумерках красноватые цветы настурций. На крыльце стояла Анна, держа за руку Сережу.

— Анна, — сказала, подходя к сестре, Наташа, — Валерий Александрович сделал мне предложение... Я приняла, поздравь нас.

В большой работе, которую вела Анна, был один участок, особенно интересовавший военных моряков. На верфи строился и оборудовался по проекту видного советского ученого новейший боевой корабль. Каждая деталь на нем подвергалась строжайшим испытаниям. Теперь дело шло к концу.

Анна и Золотов часто встречались в эти дни. Они вместе бывали на кораблях, вместе готовили материалы об итогах испытаний, часто спорили, упорно и даже ожесточенно. В этих спорах они особенно научились ценить друг друга. Анна убедилась в том, что медлительный и спокойный Золотов высказывал замечания только тогда, когда бывал безусловно убежден в своей правоте. Она не могла вспомнить ни одного случая, когда бы в споре с ним оказывались правы кораблестроители. Со своей стороны Золотов не уставал восхищаться смелостью мысли главного инженера, жадно ловившего любую идею, ведущую к превышению проектных мощностей, полное отсутствие страха перед предельными цифрами технических норм.

— Как вы не боитесь рисковать, Анна Ивановна? — спросил он однажды.

— Мне кажется, мы часто неправильно употребляем слово «риск», — ответила она. — Рискует азартный игрок, ставящий на авось, а инженер не рискует, он ищет, ставит опыт, пробует, предугадывает.

— А если все-таки неудача?

— Неудачи в этом случае у инженера, Терсентий Иванович, — фактор временный, и, если хотите, в конечном счете тоже ступень на пути к успехам. Нам только надо заботиться о том, чтобы неудач было как можно меньше, а успехов — как можно больше. — Анна подумала немного и добавила: — Я никогда не забывала, что самое маленькое сегодняшнее достижение кораблестроителей может помочь завтра морякам в их борьбе со стихией. Так ведь, Терсентий Иванович?

Золотов кивнул головой. Он сам знал это лучше Анны. И не только о стихийных силах думал он. Во время Отечественной войны, когда «Державный» устремлялся вперед, чтобы таранить вражескую подводную лодку или нанести торпедный удар, сколько раз все решали быстрота и маневр, все зависело от долей секунды, в которые корабль преодолевает какую-нибудь десятую долю кабельтова.

Золотов невольно представил себе осеннее море, вражеские катера, вынырнувшие из пены, почти неразличимые в серой дымке предрассветного тумана, торпеды, выпущенные ими. Одна прошла за самой кормой «Державного»...

— Да, Анна Ивановна, жизнь многих моряков зависит от вас, кораблестроителей, от ваших знаний, опыта, смелых поисков.

Этот разговор происходил в эллинге.

— Я очень волнуюсь, — сказала Анна, в тысячный раз рассматривая корпус достраивающегося корабля. — Терсентий Иванович, что такое настоящий корабль? — ошаршила она вдруг Золотова вопросом.

— Я уже много лет плаваю...

— Не то, — нетерпеливо перебила Анна. — Важно не то, Терсентий Иванович, как вы раньше плавали, а то, как

будете плавать. Настоящий корабль при закладке и спуске должен опережать по крайней мере на четверть века корабли, уже находящиеся в строю. Вот с этой точки зрения оцените нашу работу.

Золотов долго ходил вместе с Анной, смотрел, думал, искал недостатки. Последнее было самым трудным, ибо здесь все было гораздо совершенней, чем на тех кораблях, где ему доводилось бывать и служить.

— Чистосердечно скажу, Анна Ивановна, — признался он наконец, указав на некоторые мелкие недолжки, — такие возможности здесь открываются, что мне, моряку, не о недостатках думать хочется, а о том, как полней использовать мореходные качества корабля. Идеальный должен быть корабль, честное слово!

— Ну, до идеала еще далеко, — ответила Анна. — А что хорошие моряки многое на нем сумеют сделать, это правда. И знаете, что самое приятное сейчас для меня, Терсентий Иванович? Уверенность в том, что мы отдаем грозное оружие в надежные руки наших воинов, которые думают только о защите народа.

Золотов еще раз окинул взглядом палубу корабля. Он представил его себе уже не среди хаоса строительных лесов, а выплывающим в штормовой океан. Ветер развеивает его вымпел, мощно и ровно гудят машины, из башен глядят стволы орудий. «Счастье командовать таким кораблем», — подумал Золотов и полусушня спросил у Анны:

— Какого же офицера из ваших знакомых хотели бы вы видеть на его командирском мостике?

Анна задумалась.

Офицер, назначенный еще полгода назад командиром корабля, долго болел, а на днях его неожиданно отозвали в Москву для работы в министерстве. И должность стала вакантной.

— Так кого же, Анна Ивановна? — переспросил Золотов.

— Я бы — Высотина... А вы?

— Я согласен с вами, — ответил Золотов.

## 3

По всем расчетам Полина должна была со дня на день родить. Она уже не рисковала отлучаться из дому. Золотов старался бывать только в тех местах, откуда его можно было срочно вызвать по телефону. Не было еще случая в их жизни, чтобы он не доставил жену в родильный дом сам, не поговорил бы с дежурным врачом, с сестрой-акушеркой. Работая в штабе, он невольно думал о доме. Поэтому, как ни любил он бывать на верфи вместе с Серовым и Звенигоровым, сегодня он не был рад, когда командующий предложил ему проехаться вместе с ними.

Машина мчалась по набережной, обгоняя грузовики, груженные бочками с цементом, листовым железом, металлическими конструкциями; навстречу грузовики шли порожняком. Вдоль берега курсировали две большие баржи. По песчаной косе была проложена усыпанная щебнем дорога. Огромные плиты красновато-фиолетового гранита лежали у самой воды.

Серов обернулся к Золотову.

— Как дела? — спросил он заботливо. — Полина Васильевна еще дома?

— Идем со дня на день, — ответил Золотов.

— Помните, моя машина в вашем распоряжении. Если что, не стесняйтесь...

— Спасибо...

Дорога поднялась в гору, и с ее вершины открылся вид на внешний рейд и прибрежный район залива. У выхода в океан в широком каменном горле зыбь, ударяясь о плотную массу пологих волн, откатывалась назад, и между водой бухты и горбатым простором океана образовывалась полоса гладкой маслянисто-блестящей воды.

На рейде стояли корабли. Мглистая пелена дыма колыхалась над ними. Вспомогательные суда и рейсовые катера сновали по бухте. Эскадренный миноносец — серый и длинный — выходил в океан, подняв на фалах сигнал традиционного флотского приветствия старшему на рейде кораблю. Навстречу ему возвращались с моря вершицей морские охотники, а далеко на горизонте виднелись силуэты подводных лодок. Среди побуревшей зелени островов и мысов стояли дальнбойные батареи. И хотя Золотов много раз видел все это, хотя знал каждый корабль, каждую пушку на побережье, он не мог удержаться от восхищения.

— Экая силища! — неожиданно вырвалось у него.

— Фортеция! — ответил контр-адмирал с удовлетворением.

— Крепость! — подчеркнул Звенигоров. — И хорошо, что мы ее укрепляем со всех сторон...

На верфь они прибыли к концу первой смены и сразу отправились к эллингу, где стоял достраивающийся корабль. На его корме сияла выпуклым золотом букв надпись: «Адмирал Ушаков». Серов, Звенигоров, Анна и Золотов медленно шли вдоль его борта. Каждому из них он был дорог по-особенному. И те, кто строил его, и те, кто поведет его в далекое плавание, думали о людях, которым он станет родным домом. Не абстрактные формулы конструкций, не отвлеченные цифры расчетов, не сухие линии чертежей вдохновляли Анну, техников и рабочих, когда они строили этот корабль, и не голая статистика боевых качеств интересовала Серова, Звенигорова и Золотова. Каждая боевая рубка и каждая койка, на которой будет спать матрос, каюта, в которой будет работать офицер, библиотека, где станут рядами лучшие книги мирного непобедимого народа, орудийные башни, готовые защитить мирный народ от врага, — все было сделано любящими руками, сделано для тех любимых сыновей, которым мать-Родина вручила свой покой, сделано так, чтобы эти сыновья могли сказать: «Тут есть все, что мы требовали, все, чего желали».

Все четверо поднялись на командирский мостик.

— Четыре командира, — улыбнувшись, сказал Звенигоров.

— И среди них еще нет, кажется, того, кто будет вести этот корабль в море, — заметила Анна.

— Почему же, есть, — спокойно ответил Серов.

У Золотова екнуло сердце. «Не может быть», — сразу же отогнал он от себя эту мысль и через секунду снова вернулся к ней. «Но должно же это когда-нибудь притти».

— Кто же? Здесь я вижу только Терентия Ивановича?.. — спросила, оглядевшись вокруг, Анна.

— Да, он и назначен, — подтвердил, улыбаясь, контр-адмирал.

«Ну, вот и сбылась, наконец, моя мечта... Права была Полина», — подумал Золотов.

— Поздравляю, — сказала Анна, протягивая Золотову руку.

Он принимал поздравления от Анны, Звенигорова, Серова, улыбаясь, не скрывая своей радости.

— Посмотрите вокруг, Терентий Иванович, — сказал Серов. Он показал рукой на океан, на берег, где шумел завод и виднелись крыши домов поднявшегося среди тайги большого города, и добавил: — Я уверен теперь, что вы сможете все правильно увидеть с этой вышки.

...Уже уходя с верфи, Золотов не удержался и спросил Анну:

— А вы, вероятно, разочарованы все-таки, Анна Ивановна? Ведь другого командира прочили на этот корабль.

— Нет, Терентий Иванович, — ответила Анна. — Я очень рада за вас. А для Высотина, — она улыбнулась, — когда понадобится, мы еще лучший корабль выстроим.

#### 4

Золотов спал беспокойно и проснулся на рассвете.

В открытую форточку тянуло прохладой: дождь, шумевший всю ночь, видно, недавно утих, было слышно, как еще шлепали капли по железному карнизу окна. Золотов прислушался к звонкой капелли, но тотчас стал думать о жене.

Хоть до сих пор она всегда рожала легко и благополучно и не было никаких оснований ждать осложнений и на этот раз, он не мог успокоиться: «Мало ли что может случиться». Схватки у Полины начались вчера ночью. Он отвез ее в машине командующего и решил уже не возвращаться домой. Бродил по пустым улицам города, сажился на скамью в скверике, закуривал трубку и, не докурив, торопливо вновь приближался к родильному дому, останавливался у дверей, раздумывая, позвонить или еще обождать.

— Рано еще, рано, — говорила ему, отворяя окошечко в двери, дежурная санитарка.

Потом он решил сходить за цветами. Это отняло более часа. А вот когда Золотов с огромным букетом цветов, запыхавшись, снова прибежал в родильный дом, все уже кончилось. Женщина-врач, полная и высокая, чем-то внешне напоминающая Полину, поздравляя его с новорожденным, сказала:

— Ваш мальчишка — этакая прелесть! Четыре килограмма... — Голос у доктора сильный, густой, как у мужчины. Она шуточно погрозила Золотову пальцем. — Я знаю вас. На этот раз не прорветесь...

Золотов, скрепя сердце, покорился и вернулся домой.

Все получилось очень хорошо. И то, что Полина здорова, и то, что кончились волнения, и то, что родился сын.

«Ай да жена, ай да молодчина!» — повторял про себя Золотов. Он ощущал необыкновенный прилив сил. Ему хотелось двигаться, громко разговаривать, смеяться и петь. Но в квартире было тихо и сонно. Из детской доносились ровное дыхание спящих ребят, поэтому Золотов собирался быстро, стараясь не шуметь.

Потолок и верхняя часть стены над кроватью порозовели. Золотов раздвинул занавески на окне. Во дворе блестели лужи, в них плавали листья; листья плавали

и в бочке, стоящей под водосточной трубой, лежали на крыльце, на мокрой почерневшей скамье, на сырых дорожках. За поредевшими кустами стояли бледножелтые березы, чистые и хрупкие; они нежно вырисовывались на темной зелени елей и кедров, и над ними простиралось белесое, как весенний разлив, небо. От желтых листьев и размытых дождем глинистых дорожек, от сероватого неба с розовыми красками зари все в природе казалось нарядным и в то же время немного обветшалым и потому грустным.

Золотов вдруг необыкновенно остро ощутил красоту полуогороженных деревьев и кустов, услышал шорох капель, медленно скатывающихся с ветвей. И так же внезапно, как открылась перед ним красота ничем не примечательной картины осеннего утра, он вдруг почувствовал нахлынувшее на него счастье. Сам не зная почему, он улыбнулся и развел руками. «Эка, право...», — сказал он вслух и снова улыбнулся.

Золотов сам удивился тому большому и яркому ощущению полноты жизни, которое сейчас испытывал, какое к нему еще никогда не приходило. Он распахнул окно, еще раз огляделся вокруг, глубоко вдохнул свежий утренний воздух.

Наскоро позавтракав, он вышел из дому. «Забегу к Полине, а потом — на службу, на корабль!» — думал Золотов, поднимаясь по дороге, огибающей подножье сопки, застроенной новенькими домами, расположенными на каменных террасах один над другим. «Может, удастся Володьку посмотреть?» С Полиной было условлено, если родится сын — назвать его Владимиром.

Улица обогнула сопку; теперь перед Золотовым открылся ровный и широкий проспект. На мокром еще асфальте там и сям виднелись листья, опавшие с росших на обочине тротуара лип. На перекрестке вспыхивали огни светофора; милиционер в белых перчатках разговаривал с дворником, подметавшим улицу; из репродукторов, похожих на огромные посеребренные груши, лилась музыка.

Золотов будто впервые увидел город. Проходя по знакомым улицам чуть ли не каждое утро и каждый вечер, он привык сопоставлять то, что видел сегодня, только с тем, что видел вчера. Лишний метр стены строящегося дома, десяток деревьев, посаженных за ночь, не вызывали у него ни удивления, ни восхищения. Но сегодня город поразил его: «Как на дрожжах растет». Он постарался представить себе, что будет здесь через десять, пятнадцать, двадцать лет, представить своих сыновей, тоже моряков, и дочь, уже взрослую женщину, врача или инженера, идущих по этим улицам. «По этим и в то же время по другим, гораздо более красивым, зеленым, праздничным».

...В приемном покое никого не было. Из коридора доносились женский разговор, детский плач и чей-то тихий, счастливый смех. Золотов постоял немного, покашлял, давая знать о своем присутствии, и хотел было уже войти в коридор, чтобы узнать, в какой из комнат лежит Полина, как навстречу ему выбежала молоденькая санитарка. Марлевая косыночка аккуратно лежала у нее на золотистых кудряшках.

— Вам кого? — Санитарка окинула взглядом стоящего перед ней офицера и, будто вспомнив или догадавшись, продолжала скороговоркой:

— Если вы муж Полины Васильевны, то вот вам записка от нее. Если хотите взглянуть, то войдите во двор, направо, за стеной, третье окно. Полина Васильевна у самого окна лежит, я ей сейчас сына принесла кормить.

— Спасибо, — сказал Золотов. Он вышел на крыльцо, развернул сложенный вчетверо маленький листок бумаги. «Чувствую себя хорошо, — писала Полина. — Хочется видеть тебя, детей, не дождусь, когда буду дома, а здесь нужно пробыть не менее недели. Сын похож на тебя... Теперь нас у тебя пятеро — большая семья».

Золотов, продолжая держать в руках письмо жены, сбежал с крыльца. Оконный карниз был высоко. Он нашел во дворе несколько кирпичей, подложил их под ноги и заглянул в окно. Он увидел спинку кровати, затянутую белым чехлом, подушки и Полину. Повернувшись на бок, она, придерживая рукой грудь, глядела на сына. Золотов видел щеку жены, ее маленькое ухо, зачесанные назад волосы; потом он поглядел на то, что было завернуто в голубенькое одеяльце, что Полина так нежно прижимала к груди, и ничего не мог разглядеть. Тогда в раздражении он поскреб ногтем по стеклу. Полина сделала движение, порываясь приподняться, но потом покачала головой, как бы говоря глазами и улыбкой: «Я очень люблю тебя, но, видишь, наш маленький проголодался...» Она снова стала глядеть на сына. Подошла санитарка. Полина что-то сказала ей, и та, взяв у нее ребенка, поднесла его к окну.

Золотов так часто задышал, что запотело стекло, и, пока протирал его платком, санитарка уже положила ребенка на постель. В палату вошел дежурный врач, подошел к Полине и заслонил ее своей рослой фигурой. Санитарка сделала Золотову знак рукой, чтобы он отошел от окна.

Стоять и ожидать, пока окончится утренний обход врача, у Золотова не было времени. Он вернулся в приемный покой и написал Полине записку о том, как он безмерно счастлив, и о том, что сегодня первый день идет служить на тот самый корабль, который строила для него она.

Из родильного дома Золотов зашел в штаб.

Золотова обступили, поздравили, подшучивая, требовали «магарыч». Капитан третьего ранга, которому Золотов на днях сдал свои дела, затащил его в кабинет и, пригласив туда работника отдела кадров, сказал:

— Ну вот, Терентий Иванович, и мы вам подарок приготовили.

— Только пока никому ни слова. Приказ еще не подписан, — сказал кадровик. — Знаете, кого к вам замполитом на крейсер назначают?

— Кого? — с интересом спросил Золотов. Он знал, как много зависит на корабле от политработника.

— Па-ра-монова! — раздельно произнес капитан третьего ранга. — Довольны?

— Да, это, и правда, подарок, — обрадованно сказал Золотов.

— Это еще не все, Терентий Иванович. Высотину и Светову приказано передать вам лучших специалистов — старшин и матросов. Костяк такой будете иметь, что позавидовать можно!

Золотов пожал руки товарищам.

— Ну, спасибо, сколько забот сразу с плеч долой. С первого дня буду знать, на кого опереться...

— Удачливый вы, Терентий Иванович, человек, — сказал кадровик.

— Удачливый, — согласился Золотов.

## 5

Флаги расцветивания: синие, красные, желтые; новенькие форменки на матросах, золотые пояса на офицерских мундирах, блеск боевых орденов и медалей; голубовато-стальное море, озаренное утренними лучами, — весь этот спектр красок разом обрушился на «Державный», и он стоял на рейде праздничный, блестящий, торжественный.

На корабле отмечали годовщину подъема флага.

С минуты на минуту ждали прибытия командующего и почетных гостей.

Высотин следил за берегом. Рядом с ним стоял Парамонов, время от времени оттягивая пальцем слишком узкий для него воротник мундира. Матросы выстроились на юте. Ветер шевелил ленточки их бескозырок, задувал под форменные воротники.

Боцман Головенченко по-особенному переживал этот день. Он был в тужурке с мичманскими погонами, золоченый эфес кортика висел у его бедра. Головенченко надел кортик впервые и никак не мог к нему привыкнуть.

Матросы искоса поглядывали на радостное лицо боцмана, на его закрученные, нафиксатуренные корабельным парикмахером усы.

Головенченко был откровенно счастлив. Позавчера приехала его жена. И все произошло в точности, как он предвидел. Подбоченилась, спросила: «Где тут край света?» и, расцеловавшись, пригрозила: «Усы сбрею, табачищем разит — не продохнешь!» Потом, пока он здоровался с сыновьями, сложила все клумки в одну кучу и потребовала: «Ну, веди, старый, показывай нашу хату».

А хата боцмана была квартирой в новом, только что выстроенном доме на Морском проспекте; вокруг дома стояли молодые деревца, и среди них — большой старый кедр.

Жена сразу же пошла знакомиться с соседями, осматривать место для огорода.

После обеда боцман повел сыновей в порт. У старшего на верхней губе уже пробивались пшенично-белые усы, ростом он был на полголовы выше отца; учиться в школе ему оставалось один год, да и младший, шестиклассник, тоже был парень хоть куда.

Головенченко гордо шел по пирсу и говорил о кораблях, как о живых, хорошо ему знакомых людях.

— Вон там, — он показал рукой на выстроившиеся вдоль пирса тральщики, — наши «пахари», а вон там гвардеец стоит. А это, видите на рубке подводной лодки цифру пять? Значит, пять фашистских кораблей ко дну от ее торпед пошло. А вон корабль, на котором я службу, называется «Державный».

Потом боцман гулял с сыновьями по городу, показывал стадион, парк культуры и отдыха, театр и кино и, наконец, поднялся с ними по главной улице, упиравшейся в подножье горы. К вершине ее вела широкая лестница

из белого мрамора, с обеих сторон ее стояли чугунные столбы с укрепленными на кронштейнах матовыми фонарями. На склонах горы густо росли деревья, только на вершине была вырублена лужайка, и там виднелись строительные леса.

— Владимиру Ильичу Ленину памятник здесь будет! — сказал боцман сыновьям. — Ильичу весь океан оттуда видать!

Удача никогда не приходит в одиночку. Возвратившись на корабль, главный старшина Головенченко узнал, что ему присвоено звание мичмана. Приказ о присвоении звания был торжественно оглашен на верхней палубе. Командир преподнес боцману новые погоны, мичманскую эмблему на фуражку и свой кортик. Крепко пожав ему руку, сказал:

— Я хочу поблагодарить вас, боцман, от имени всего личного состава «Державного» за ту большую работу по воспитанию моряков, которую вы проделали.

Боцман держал кортик обеими руками. Этот подарок был для него особенно приятен. Конечно, в ближайшие же дни боцман получит для себя кортик на складе, и двух кортиков ему не нужно, но то, что командир отдал ему свой, означало, что он, боцман, заслужил любовь и уважение такого строгого и требовательного человека, как Высотин...

Раздумье боцмана прервали возгласы:

— Идут, идут!..

От пирса отвалили два катера. На первом, белоснежном, шли командующий, работники штаба и политотдела; на палубе второго в синеву матросских форменных воротников и золото мундиров вкраплены были коричневые и серые цвета гражданских плащей, зеленые и красные — женских шляп. Катера медленно приближались к «Державному».

Перед строем матросов появился Кипарисов. Лицо у старшего помощника было строгое и хмурое, командовал он резко и отрывисто. И хотя все шло как полагается, матросы чувствовали, что и голос старшего помощника и его лицо были не такими, какими следовало быть сегодня, когда хотелось, чтобы во всем проглядывала праздничная торжественность.

Сыграли захождение. Командующий поднялся по трапу. Приняв рапорт Высотина, подошел к строю. Чуть позади командующего — Звенигоров, Высотин, Золотов, секретарь горкома, еще дальше кучкой — Анна Субботина, главный конструктор верфи, Евтерев с Любашей; у Любаши к борту легкого синего пальто приколота веточка клена с желтовато-зелеными, прорезанными красновато-фиолетовыми нитями листочками. Все моряки «Державного» неотрывно смотрели на контр-адмирала, произносившего короткую речь.

Не было в строю только Плакуши. Высотин разрешил ему отлучиться на вокзал — встретить и привезти на корабль собравшуюся в гости к сыну Аграфену Петровну.

— ...Традиции героев войны продолжают. Подвиги труда, учебы, службы достойны подвигов, свершенных в бою! — говорил командующий. — Слава комендора Чайки и слава строителей верфи, гвардейский флаг, полученный в боях, и звание отличного корабля, добытое сегодня, нам одинаково дороги.

После окончания речи командующего был зачитан его приказ по соединению.

Гости спустились в кают-компанию, в машинное отделение, в кубрики, беседовали с матросами. Всюду слышались разговоры.

— Отличный корабль!

— Все равно, что гвардия.

— Моряк с «Державного» — это на всех флотах знать будут.

— Командиру, замполиту, боцману, Донцову, Ташыбасву — личная благодарность.

— А кто это песни у вас пишет?

— Вон тот, длинный, — композитор...

В каюте политпросветработы иллюминаторы завешены. Горят огни карты. К этим огням сткаются и гости и хозяева корабля. Высотин стоит рядом с Анной.

Озеров, окруженный группой гостей и матросов, проводит указкой линии из всех концов страны к Белым Скалам, и кажется, что по этим проложенным им линиям мчатся поезда, идут пароходы, летят самолеты. Озеров помнит, откуда прибыл каждый из моряков «Державного», знает, откуда везут горячее для кораблей, станки для верфи, какие институты готовят инженеров, какие училища — офицеров для кораблей, и когда он говорит, далекая гавань уже не кажется далекой...

Серов, Звенигоров, секретарь горкома вошли в каюту. При свете карты Высотин прочитал поздравительные телеграммы, полученные из портов Бронштадта, Таллина, Севастополя, Одессы, Баку...

«Поздравляем... — читал громко Высотин. — Привет отличникам-океанцам от отличников Балтики, Черноморья, Каспия...»

## 6

После обеда гости и хозяева свободно расположились в кают-компании. Общие темы как-то сами собой исчерпались; после праздничного, шумного и потому хоть и приятного, но утомительного разговора всем хотелось немного отдохнуть.

Серов сидел на диванчике с Золотовым и Высотиным. Звенигоров, Парамонов и Озеров куда-то ушли. С ними пошла и мать Плакуши, только что прибывшая на корабль.

...Аграфена Петровна несколько опасалась морских путешествий и приехала в Белые Скалы с первым пассажирским поездом, который пришел к новому, только что выстроенному вокзалу по новой, только недавно проложенной железнодорожной ветке.

Фасад вокзального здания был украшен флагами, гирляндами елочных ветвей, перевитых алым жучачом. Среди живых цветов возвышались портреты Ленина и Сталина.

Перрон был заполнен местными жителями. Суетились фотографии, а кинооператоры перетаскивали с места на место съемочный аппарат. Оркестр играл торжественный марш.

— Ничего, толково встречаете, — спокойно сказала Аграфена Петровна, выйдя из вагона и осмотревшись вокруг. Она отставила в сторону чемоданы, потом неторопливо обняла Плакушу и расцеловала трижды. — Ну-ка, покажись. — Она окинула его оценивающим взглядом. — Моряк лихой, только больно уж хлипкий.

Наташа, стоявшая рядом, невольно прыснула от смеха.

— А ты кто такая будешь? — строго спросила Аграфена Петровна.

— Это моя знакомая, Наташа. Познакомьтесь, мама, — заторопился Плакуша.

— Что значит — знакомая? Со знакомыми мать не встречают. Невеста — так, что ли?

— Невеста, — Наташа улыбнулась, — без пяти минут сноха. — Наташа весело блеснула глазами. Ей с первого взгляда понравилась эта высокая, крепкая, уверенная в себе женщина в модном осеннем пальто и платке, по-деревенски завязанном под подбородком.

— Бойкая, зелье-девка! — не то удивленно, не то одобрительно сказала Аграфена Петровна. — Возьму ли я тебя еще в снохи-то? Ну, да ладно, поцелуемся.

Плакуша, усаживая мать в машину, только подивился тому, как легко и просто разговаривает с ней Наташа. Обычно люди, мало знавшие Аграфену Петровну, немного ее побаивались.

Аграфена Петровна поднялась по трапу «Державного» неторопливой, хозяйской походкой. «Будто в свою избу», — подумал Плакуша. Так же просто, не смущаясь, познакомилась со всеми офицерами, внимательно осматривая каждого. Потом попросила политработников принять ее в свою компанию.

— Знаю, знаю, — сказала она, — вы люди самые обстоятельные.

Плакуша с Наташей стояли теперь одни у иллюминатора. Гаранин подсел к Евтеревым и, стараясь смотреть все время не на жену, а на мужа, занимал их рассказом о спасении «Двины».

Россинский играл на пианино, тихо, едва касаясь руками клавиш. И теперь кто бы ни говорил, двигался или думал, невольно думал, двигался и говорил в такт тихой и прозрачной музыке.

Высотину хотелось подойти к сидевшей в одиночестве Анне, но оставить командующего было неудобно. Он увидел, что Анна смотрит на него, и подумал: «А ведь очень близкие люди умеют и так понимать друг друга».

«Я не мог у тебя побывать: все дела, дела, милая Анна», — стал повторять про себя Высотин. Анна улыбнулась и кивнула ему головой. «Неужели поняла?»

— Андрей Константинович, — перебил его мысли вопросом Серов, — вы уже Терентия Ивановича поздравили с новым назначением?

— Поздравлял, конечно, от всей души.

— А не завидуете?

— Не завидую. «Державный» ни на что б не променял, — горячо сказал Высотин. — Самое тяжелое, по моему, это расставаться с людьми, с которыми сжился, которых воспитал, любил.

— Да, это тяжело, — согласился Золотов. — Очень тяжело, — повторил он, подумав.

— Так что и вы, Терентий Иванович, сами предпочли бы «Державный» «Ушакову»?

— Нет. Теперь нет. Я уже переболел. И хочется самому сделать свой корабль таким, каким стал без меня «Державный»... — Золотов не договорил.

Серов вдруг заметил, что и Высотин и Золотов смотрят на него так, будто ждут, что он выскажет какую-то



неприятную для них обонх мысль, к которой он пытается их подвести.

— Нет, нет, я без подвоха, товарищи офицеры, — засмеялся командующий. — Вы, по-мосму, оба как раз на месте.

Высотин заметил, как к Анне подсел Кипарисов. Старший помощник говорил очень тихо и сидел спиной к Высотину, поэтому его голоса совсем не было слышно. Зато лицо Анны Высотин видел хорошо и, следя за ее губами, мог почти безошибочно угадать то, что отвечала она.

— Это и не нужно... — Анна равнодушно повела плечами.

— Андрей Константинович, вы согласны? — обратился Золотов к Высотину.

— Согласен. Согласен...

Серов рассмеялся.

— У него, Терентий Иванович, мысли далеко.

Высотин, снова мельком взглянул на Анну, заметил, что лицо у нее стало сердитым. «Что же Кипарисов ей говорит? А я и не знал, что он с ней знаком».

— Виноват, товарищ командующий, я действительно задумался, — сказал смущенно Высотин.

— Думайте, думайте. Мы вам больше не помогаем.

Анна поднялась с кресла.

— ...Дело мое, — донеслись ее слова. — Может быть, ш он.

Больше ничего Высотин не разобрал. Анна направлялась к нему.

— Вы бы прошли с Анной Ивановной по кораблю. Она, ведь, кажется, впервые на «Державном», — сказал Серов.

Высотин благодарно посмотрел на командующего.

— Пойдемте, Анна Ивановна, хотите?

— И мы с вами, — поднялась Любаша Евтерева.

— Если позволите, и я, — обратился к Серову Золотов.

— Идите, идите. А я теперь со старшим помощником поговорю, — сказал Серов.

Высотин, Анна, Любаша и Золотов, поднявшись на палубу, увидели в центре широкого матросского круга Аграфену Петровну.

— Ну, и мамаша у нашего фельдшера! — сказал Высотину подошедший к нему Парамонов. — Обстоятельная женщина. Инспектор, а не гость. — Он развел руками. «Все, говорит, что от меня не военная тайна, рассказывайте». Водим ее по всему кораблю. Машинами, правда, только полюбовалась, кубрики одобрила — «чисто», а коку так даже замечание сделала — объясняла, для какого блюда как мясо готовить. С камбуза пошли мы в каюту политпросветработы. Тут и началось... Заставила там по модели обо всем корабле рассказать, потом на переборки посмотрела. Знаете, там портреты тех, кто удостоился сняться при развернутом знамени. Выслушала она все про Донцова, Стеблева, Ташыбаева, а потом спрашивает: «Сын мой, значит, не отличился». — «У нас, отвечаю, все отличники. По всем кубрикам и каютам их портреты висят». Едва ее успокоил...

— ...Так-то вот мы работаем, товарищи моряки, и с вас спрашивать имеем право, — донесся громкий голос Аграфены Петровны.

Серов сам предложил Кипарисову перейти в его каюту. Все складывалось для старшего помощника как нельзя удобнее. Теперь естественно и просто мог начаться тот разговор, о котором Кипарисов думал давно.

Все более одиноким чувствовал себя старший помощник на «Державном», хотя он жил попрежнему той же, определенной уставом жизнью, какой жили на корабле все: выполнял служебные обязанности, непринужденно, а иногда и весело разговаривал за столом в кают-компани, делал замечания и объявлял благодарности подчиненным. На полноту его власти не покушался никто. И все-таки дело было из рук вон плохо. Сначала неприятная беседа с Парамоновым и Озеровым из-за доклада, потом резкий разговор с командиром. В чем его обвиняли?.. В том, что, как сказал Парамонов, «движение отличников прошло мимо него», в том, что он не интересуется духовной жизнью матросов, не развивает и не поддерживает инициативы, и так далее и тому подобное. Факты, которые приводил замполит, были, по мнению Кипарисова, мелкими и спорными, а все, вместе взятое, выглядело весьма туманно. Единственное, что казалось старшему помощнику бесспорным, — появилась некоторая отчужденность в отношении офицерского коллектива к нему. Поразмыслив, он пришел к выводу, что это дело рук Высотина. Долгие беседы с подчиненными на темы, не имеющие отношения к службе, переписка с их родными, всякие неофициальные собеседования и совещания — ко всему этому Кипарисов относился скептически и именовал про себя «высотинской отсебятиной». Вслух он этого не говорил, но, видимо, это чувствовалось всеми. Кипарисов не отрицал, что Высотин неплохой командир и добился хороших результатов. Но кто знает, может быть, сам Кипарисов добился бы еще более высоких результатов и еще быстрее. Был же долгое время лучшим кораблем «Державный». Светов, конечно, несколько перегнул палку, выступая на теоретической конференции, но практически был, пожалуй, прав. «Я в конце концов, — думал Кипарисов, — не откажусь использовать кое-что из высотинского опыта, но только на своем корабле».

Старший помощник сам чувствовал шаткость своих рассуждений. «Но дело не в них, — решил он. — Об этом еще будет время подумать». Во всяком случае сейчас важно другое: лично Высотина он терпеть не мог, Высотин недавно его оскорбил, следовательно, служить вместе они не могут.

— Мы не сработались, — так и доложил он контр-адмиралу.

— Причины?

— Личная неприязнь.

— Ваша?

— Обоюдная.

— Причина неприязни?

Кипарисов подумал. Сейчас, когда «Державный» стал отличным кораблем, спорить о «высотинском стиле» было бы трудно и опасно.

— Не знаю. Но она есть, товарищ контр-адмирал.

— Ему не понравился ваш нос, вам — его голос, так, что ли?

— Но ведь бывает, товарищ контр-адмирал, что люди органически чужды друг другу.

— Если это советские люди, коммунисты, — не бывает.

— Личное, субъективное чувство ведь не всегда подотчетно разуму, общественному... — Кипарисов волновался.

— Плохо, если не подотчетно. Очень плохо. И знаете, капитан-лейтенант, я думаю, за всякой личной неприязнью есть что-то, что может заинтересовать весь коллектив.

Кипарисов чувствовал, что разговор принимает неприятный для него оборот, и рискнул:

— А если женщина?

— Женщина? Кто же? — Серов был попрежнему строг и спокоен.

— Обязательно назвать имя, товарищ контр-адмирал?

— Нет! Скажите, чего вы хотели бы?

— Прошу назначить на другой корабль.

— Так... — Серов поднялся. — Теперь выслушайте внимательно меня. Я примерно знаю о ваших расхождении с командиром. Об этом я беседовал с замполитом и секретарем партбюро «Державного». То, что они говорили вам, совпадает и с моим мнением. Лучшего места, чем «Державный», для того, чтобы вы могли стать полноценным офицером, я не знаю. И весь мусор, который накопился у вас на душе, вышвырните без сожаления. Вот и все.

— Но... — Кипарисов хотел было защищаться.

— Я все сказал, — прервал его контр-адмирал. — Надеюсь, следующая встреча будет приятней для нас обоих. — Серов направился к двери.

Кипарисов остался в каюте. Он даже не пошел проводить адмирала. «Мусор на душе»... — повторял он про себя. С палубы донеслись звуки баяна, веселые голоса.

«Почему командующий так сказал, что он имел в виду?..» Кипарисов уже видел торжествующее выражение на лице Высотина, которому, конечно, станет известным этот разговор старшего помощника с адмиралом. Представилась такая сцена: Высотин самоуверенно читает ему нотацию, а он, Кипарисов, покорно склонив голову, говорит: «Есть». И это обычное уставное слово звучит на этот раз в его ушах, как «я виноват, я виноват».

Кипарисов все больше растравлял рану. Вот вслед за Высотинным начинает его поучать Парамонов. И Анна, которой Высотин, конечно, все расскажет, тоже посмеется над ним, к тому же еще неудачливым женихом. Кипарисов подошел к зеркалу. Посмотрел на свое бледное и потому казавшееся еще более красивым лицо и шемного успокоился. Он обтянул на себе мундир, надел фуражку.

Еще поднимаясь на палубу, он услышал вблизи ноты чуть хрипловатого, но сильного баса: «Онегин, я скрывать не стану...» Это интендант Евтерев исполнял арию Греммина. Кипарисов стал позади всех, у борта. Потом как и Вася Мошкин в белых колпачках и фартуках плясали «яблочко», и Кипарисова раздражало то, что все восторженно аплодировали этому, по его мнению, шутловскому номеру. В нескольких шагах от себя он увидел Высотина с Анной. Командир указал ему глазами на свободное место рядом с собой. Кипарисов, секунду поколебавшись, подошел и сел.

— Я прошу вас, товарищ командир, позволить мне сейчас отлучиться в город. Мне крайне необходимо.

Анна посмотрела на Кипарисова удивленно. Но Высотин сразу же согласился. Он догадывался о переживаниях старшего помощника.

Кипарисов вызвал боцмана, приказал подать шлюпку.

Предстояли еще шлюпочные гонки, и матросы гребли изо всех сил, спеша вернуться на корабль. Кипарисов был этому рад. Чем дальше теперь от «Державного», тем лучше.

Кипарисов шел к центру города. Ему казалось, что как только он смешается с толпой незнакомых ему людей, не знающих о его беде, выходящих в нем только красавца-моряка, сразу же станет легче. Однако не прошел и двух кварталов, как его остановил знакомый офицер из штаба. Офицер интересовался праздником на «Державном» и сочувственно спросил о деле, которое заставило старшего помощника оставить в такой день корабль. Кипарисов быстро отделался от собеседника, но идти в центр города ему расхотелось.

«Неужели нет человека, который любил бы меня, не думая, плохой я или хороший, прав я в чем-то или неправ, просто любил бы? А Мария? Вот кто может все мне простить... Но ведь Мария здесь, в Белых Скалах! Обязательно надо сейчас же, сию же минуту увидеть Марию. И тогда сразу все уляжется, и найдется выход». — Он не знал какой, не знал как, но был уже уверен, что после этой встречи все непременно образуется само собой, и если даже не образуется, то все-таки непременно станет легче.

Кипарисов остановил проезжавшую мимо свободную машину.

— В гостиницу, — сказал он. Всю дорогу он тревожился только о том, чтобы застать Марию. «Не переехала ли? Дома ли?» Это, казалось ему сейчас, все решало.

Марию Кипарисов застал. Она поднялась навстречу из-за стола. На столе стояла фотография Светланы, лежали книги. Мария была в светлоголубом платье, отделанном черным бархатом. Косы золотой короной обвивались вокруг ее головы. Глаза смотрели спокойно.

— Значит, решил проведать?

— Да, я ведь обещал. — Он хотел с места в карьер заговорить о том, что решил вернуться к ней, и сделал бы это, если бы она выразила хоть малейшее волнение при виде его, если бы она показалась ему растерянной, или смущенной, или хотя бы опечаленной, утомленной, как тогда, на корабле. Но Мария холодная, красивая, уверенная — такой он увидеть ее не ожидал.

— Как у тебя дела, как устроилась?

— Завтра иду на работу, назначили мастером в цех. Комнату обещают через недельку.

— Довольна, значит?

— Не жалуясь. А у тебя что слышно? Все попрежнему?..

— Да, попрежнему. — Он с тоской почувствовал, что их разговор, так же как на корабле, пошел по тому изъезженному руслу, по которому он идет, когда людям нечего друг другу сказать. Он понимал, что если так будет продолжаться, ему придется через пять — десять минут подниматься и уйти.

— Хочешь чаю?

— С удовольствием. — Он ухватился за эту возможность. — А может быть, выпьем вина?

— Нет, не хочется. — Мария позвонила и попросила коридорную принести чай.

Окно выходило на площадь, на которой ветер кружил пыль. Вечерело. Солнце скрылось за горами, но облака еще горели, и их золотистый отблеск лежал на верхних стеклах окон. Кипарисов поглядел на Марию.

— Ты очень изменилась.

— Не знаю. Наверно, очень...

Принесли чай. Кипарисов отхлебнул глоток. Мария укладкой посмотрела на часы.

— Ты спешишь куда-нибудь?..

— Нет, не очень.

«Очень, не очень», — его раздражали ее лаконичные ответы. Он встал и прошелся по комнате. «Надо во что бы то ни стало сойти с проторенной дорожки этого пустого разговора». Он подошел к столу, взял фотографию Светланы.

— Когда мне было три года, я был такой же, — сказал он.

— Не надо об этом. — Мария отвернулась.

— Но ведь это была наша дочь... — Он почувствовал, о чем надо говорить.

— Перестань, Ипполит. — Она тоже поднялась. — Ты сам это все оборвал...

Кипарисов неожиданно для самого себя спросил:

— Мария, что такое — мусор на душе?

Она почувствовала, что с ним происходит что-то неладное, что он ищет у нее помощи. Лицо его не выражало обычной самоуверенности. В глазах была тоска.

— Это, наверное, плохие, ложные чувства, мысли. А почему ты об этом спрашиваешь?

— Это у меня на душе. У меня, Мария.

— Если ты это знаешь, это чувствуешь, то надо это выбросить.

— А если я не знаю, что у меня плохое, а что хорошее? — вырвалось у него.

— Тогда спроси у людей, которым веришь.

— У тебя?

— Лучше у тех, кто больше знает тебя, кто чаще видел.

— Но пойми, Мария, что спрашивать можно только у человека, который тебя любит безоговорочно, каким бы ты ни был, плохим или хорошим.

— Такого не бывает, Ипполит.

— А я слышал однажды: любить — как птице летать, рыбе плавать...

— Это можно, Ипполит, но только если у обоих чисто на душе...

— Значит, ты не можешь меня так любить?

— Не могу, Ипполит, и не хочу. И верить тебе не могу.

— А если я тебя все-таки люблю?

— Нет, ты любить не можешь...

Кипарисов, опустив голову, стоял у стола, перевернув рамку с портретом Светланы; разговор с Марией только увеличивал его душевное смятение.

Мария подошла и взяла его за руку.

— Я скажу тебе только то, что подсказывает мне сердце: я чувствую, что тебе сейчас надо много вы-

держки, силы. Для чего, я еще не знаю, но нужно, а ты ищешь сочувствия. Это ошибка.

— Значит, ты меня уже не любишь? Я тебе не нужен?

— Не люблю. И ты не любишь. Но если тебе необходима дружеская поддержка, если хочешь со мной поделиться, я охотно выслушаю тебя.

«Но ведь я ничего не могу ей рассказать, не знаю, как рассказать», — подумал он.

Мария видела растерянность и боль, которые ясно проступали на лице Кипарисова. Ей безотчетно захотелось провести рукой по его волосам, коснуться ладонью щеки, но она понимала, что это именно то, чего он хотел и чего не следовало делать. Почему не следовало? Потому, что он был виноват и перед ней и, видимо, перед другими людьми и избегал признания этой вины, не хотел ее осознать. Его нельзя было поддерживать в этом.

— И больше ты мне ничего не скажешь? — спросил он.

— Да, пока я ничего больше не могу тебе сказать. — Она зажгла в комнате свет.

Разговор сам собой оборвался. Кипарисов допил остывший чай и распрощался.

## 8

На следующий день после корабельного праздника Высотин отправился к Золотовым поздравить Полину Васильевну с новорожденным.

Погода еще с утра резко изменилась. Рыхлые тучи навалились на вершины сопок и прибрежных скал. Студеный ветер кружил опавшие листья, трепал полотнище наполовину отклеившейся афиши на высокой круглой тумбе у перекрестка улиц.

У Высотина, однако, настроение было солнечным. С пакетом, в котором лежали всяческие распашонки, он шагал по бульвару, не замечая ни холодного резкого ветра, ни собирающегося дождя.

Контр-адмирал, поздравляющий его с отличным кораблем, Парамонов, Озеров, Донцов, боцман — счастливые, как и он, гордящиеся друг другом — все это проходило сейчас перед его мысленным взглядом.

Поднимаясь на крыльцо золотовского дома, он уже заранее улыбался, предвидя, как обрадуются его приходу.

Сердечно поздоровавшись с открывшим ему дверь Золотовым, он вошел в квартиру и еще из коридора увидел отражавшийся в овальном настенном зеркале профиль Анны.

Посреди накрытого по-праздничному стола стояла модель «Державного», поблескивающая свежей краской. Полина в широком платье-халате выглядела именно так, как должно выглядеть радушной, домовитой хозяйке.

Высотин склонился над детской кроваткой, посмотрел на крохотное существо и растерянно оглянулся, не зная, что сейчас надо делать и о чем говорить. Он встретился взглядом с ласково улыбающейся Анной и вдруг, будто что-то прочитав в ее глазах, решил сегодня же объясниться с ней открыто, без недомолвок. Пора!

Золотов, смеясь, начал рассказывать о том, как недавно Кипарисов просился к нему на корабль, утверждая, что с Высотиным служить невозможно. И как он, Золотов,

ответил, что теперь сам набрался высотинского духа и что поэтому менять шило на швайку не имеет смысла. Анна, восхищаясь подарком комсомольцев «Державного», шутя грозилась утащить модель для своего кабинета на верфи. Потом она вместе с Полиной вышла купать ребенка.

Может быть, вечер окончился бы для Высотина так же счастливо, как и начался, если бы не обмолвка Золотова.

— Ну, рад, очень рад, что вы таким молодым, Андрей, — сказал Золотов, смотря на веселое лицо Высотина, — признаться, боялся, что увижу вас расстроенным.

— Это по какому поводу я должен быть расстроенным? — спросил весело Высотин. — Я, Терентий Иванович, переполнен счастьем, не знаю, с кем бы им поделиться... — Через полуоткрытую дверь он взглянул на Анну. Она стояла у печи, грея крохотную распашонку. Лицо у нее было какое-то просветленное и вместе с тем озабоченное, словно она делала что-то очень важное.

— Это хорошо... А приказ уже получили? — Золотов пытливо заглянул Высотину в глаза. «В самом деле ты такой молодец или наиграно у тебя это?» — подумал он.

— Никакого приказа я не получал и знать ничего не знаю! И не пугайте, пожалуйста, меня, Терентий Иванович. — Высотин все еще улыбался.

Золотов поколебался немного. Ему самому не хотелось нарушать радостного настроения Высотина. Он перевел взгляд на модель и сказал:

— Прекрасные люди на «Державном». Золотой народ, с золотыми руками. Такие люди могут крепким ядром любого коллектива стать. Верно?

— Верно, конечно. Но к чему вы клоните?

— А к тому, батенька, — Золотов решил, наконец, высказаться открыто, — к тому, что придется вам поделиться со мной специалистами.

— Не может быть! — Высотин посмотрел на Золотова, все еще надеясь, что тот только шутит, но лицо у Терентия Ивановича было спокойное и серьезное. И то благодушное и радостное состояние, которое было у Высотина до сих пор, мгновенно исчезло.

— Почему же не может быть, Андрей?

— Потому, что «Державный», — сказал Высотин, — первый и пока единственный целиком отличный корабль!

— В том-то и дело, что единственный, — хладнокровно ответил Золотов.

— А вы разве хотите, чтобы не было ни одного?

— Напрасно ершитесь, Андрей, — сказал Золотов.

— Как это напрасно?

— А я ведь рассказал вам об этом, — продолжал Золотов, не отвечая на вопрос, — чтоб о людях поговорить, посоветоваться, вместе решить, кого мне отдадите. Понимал конечно, что расставаться с ними вам жаль будет, но такого, признаться, не ожидал.

— Удивляюсь вам, Терентий Иванович, — сказал, едва сдерживая себя, Высотин, — будто снова первый раз с вами о «Державном» говорю. Опять, мне кажется, вы на все со своей личной колокольни смотрите.

— А я думаю, что на этот раз мы поменялись ролями, — ответил Золотов.

Высотин опустил голову. Постоял так, насупив брови, раздумывая. В наступившей тишине было отчетливо

слышно, как стучат часы: «тик-так», «тик-так», «тик»...

— Приказу я, конечно, подчинюсь, — сказал тихо и медленно Высотин. Лицо его стало хмурым. — Но, простите, мне нужно срочно на корабль. — Неловко поклонившись, он вышел из комнаты.

Золотов, поспешивший за ним, услышал только стук каблуков на лестнице. Анна, стоявшая у окна, увидела Высотина, который быстро пересекал двор. «Что же это случилось, почему ушел не попрощавшись?» «Встревоженная, она вышла в столовую.

— Терентий Иванович!..

— Неладно вышло с Андреем! — Золотов, возвращавшийся из коридора, произнес эти слова еще на пороге комнаты.

— Служебное?

— Да.

— И большая неприятность?

— Нет. Обычное дело. — Золотов медленно провел рукой по волосам. — Только слишком горяч Андрей, как бы не споткнулся...

Анна отрицательно покачала головой. «Этого не должно быть». Она снова подошла к окну. Высотина уже не было видно.

В оконное стекло ударила одна капля и отскочила, вторая расплющилась. Начиная накрапывать дождь. «Ему тяжело. Почему я не с ним?»

«А я ведь ему еще о Парамонове не сказал», — подумал Золотов. Он чиркнул спичкой, поднес ее к трубке и глубоко затанулся.

## 9

Едва Высотин поднялся на «Державный», как дежурный офицер, отдавая ему рапорт, доложил:

— На корабль прибыли матросы из экипажа.

«Быстро работают штабисты», — подумал Высотин. Он зашел к писарю, взял у него приказ, затем вызвал к себе в каюту Парамонова. «Посоветуюсь с замполитом».

— Приказано несколько специалистов передать Золотову, что вы на это скажете? — Высотин протянул вошедшему в каюту замполиту штабной бланк.

Парамонов повертел бланк в руках.

— Слышал уже, — сказал он, — только что от Звенигорова. И меня туда же через недельку хотят забрать.

— Вас?! — Высотин удивленно посмотрел на Парамонова. — Что они там?

Перед глазами Высотина разом возникли все задуманные вместе с замполитом и не законченные еще дела. Ему показалось странным и даже нелепым, что Парамонова не будет с ним рядом на командирском мостике, что он не сможет зайти ночью к замполиту в каюту, чтобы посоветоваться о самом сокровенном, решить самое важное, что он не услышит на партийном собрании его голоса.

Высотин смотрел на Парамонова, как смотрят на дорогих людей перед разлукой, будто стараясь запомнить каждую черточку их облика на всю жизнь. Блок волос над широким лбом, глаза — небольшие и не особенно красивые, но необычайно выразительные: то восторженные, то добрые и внимательные; то сердитые, колючие, то, как сейчас, задумчивые.

Парамонов понимал, о чем думает командир, потому что и сам переживал почти то же. И для него Высотин был лучшим другом, а «Державный» — родным кораблем, где каждый человек близок и дорог, каждая вещь — своя, каждое дело — кровное.

— Да, не все в жизни бывает гладко, не все... — сказал Парамонов. — Однако надо продумать и составить список людей, которых мы переведем на «Адмирала Ушакова», Андрей Константинович, — сказал он.

«Мы переведем... Мы...» — повторил про себя Высотин. — Значит, и Парамонов не может отделить себя от «Державного», — подумал он. — Но как же быть с людьми?» Снова эта мысль со всей остротой встала перед ним.

— Итак, нет больше отличного корабля, Николай Николаевич... — Высотин взял лежавший на столе цветной карандаш и провел прямо по настольной бумаге две линии крест-накрест.

— Почему же нет? — спросил Парамонов. — Я понимаю, трудно с людьми расставаться. Отдашь — будто с кровью оторвешь. Так ведь это боль человеческая, и делу она не помеха. А корабль отличным был, отличным и останется.

— Что же нам, приказом всех новичков в отличники зачислить? — Высотин отбросил карандаш, посмотрел на замполита и пояснил: — Я считаю так: будет, скажем, в артиллерийском расчете один не отличник — значит, весь расчет не отличный, значит, боевая часть не отличная и «Державный» не отличный корабль.

— А я думаю так, Андрей Константинович, — сказал Парамонов, — если есть у нас коллектив спаянный, здоровый, сильный — отличный коллектив, значит, кто бы в него ни вошел, должен будет отлично служить. Не сможет — научат, любовь привьют, заставят, если надо. Вот ответьте мне: создали мы такой коллектив, чтоб он никаких испытаний не боялся? Или карточный домик построили: одну, другую карту вынь — и все посыплется?

Совсем стемнело. Вещи в каюте потеряли резкие очертания, вечерние тени покрыли полки с книгами на перборке, пепельницу, коробку папирос на столе, зачернили углы каюты; только лицо Парамонова, на которое падал луч света из иллюминатора, резко выделялось, будто само светилось в темноте.

Парамонов говорил горячо, с сердцем, с обидой.

Высотин задумался. Он снова вспомнил вчерашний праздник, матросов, плотно, плечом к плечу стоявших в строю и слушающих речь адмирала. И за этим строем он в одно мгновение увидел весь тот трудный путь, который прошел коллектив «Державного» за несколько месяцев. «Да, Парамонов прав, — подумал он. — Надо отдавать людей».

На пороге каюты показался Донцов. Он вошел, не дождавшись ответа на стук, и теперь смутился, догадавшись и по тому, что в каюте не зажигали света, и по выражению лиц командира и замполита, что пришел не во-время.

— Виноват... — Донцов хотел было уйти, но Парамонов уже повернул выключатель настольной лампы, а Высотин сказал:

— Заходите, садитесь.

Донцов неловко присел на краешек кресла. Дело у него было личное, и он не чувствовал себя вправе мешать, очевидно, важному для обоих его начальников разговору.

Высотин заметил смущение Донцова и, догадываясь о его причине, спросил:

— Что нового у вас в комсомоле?

Донцов обрадовался возможности говорить не о личном, а об общем деле.

— Хороший день сегодня, товарищ командир, — сказал он. — Стебелева на бюро в комсомол принимали.

— Приняли?

— Конечно, приняли. — Донцов даже удивился вопросу.

Высотин понял его удивление и усмехнулся. Он сам бы не задал этого вопроса, если бы не был погружен в воспоминания, если бы еще несколько минут назад не представился ему Стебелев таким, каким он вошел первый раз в его каюту, — угрюмый, недоверчивый, смотрящий исподлобья...

— Потом характеристику на Ташыбаева в училище писали, — сказал Донцов.

— Жаль, наверно, с другом расставаться? — спросил Высотин.

— Жалко? — Донцов подумал немного. — Не знаю, товарищ командир. Радость за Шермата большая. Человек он способностей редких... — Донцов остановился, будто колебался, говорить или не говорить, потом, тряхнув головой, закончил: — Трудно, конечно, расставаться, да ведь надо.

Высотин не ответил. Он подошел к книжной полке, выдвинул одну, другую книгу, поставил на место. «Чего, собственно, я ищу?» — подумал он. Потом снова стал вынимать книги и складывать их стопкой.

— Вот, передайте эти книги Ташыбаеву от меня... — сказал он Донцову. — Он завтра уезжает?

— Да. — Донцов поднялся.

— Так какое у вас было дело ко мне, Донцов? — спросил Высотин.

— Личное... Рекомендацию в партию хотел у вас просить...

— Рекомендацию?... — Высотин еще раз оглядел Донцова. «Когда он не хмурится, лицо у него совсем детское и сам кажется еще юношей, хоть и богатырского роста. Что ж, годами молод, да умом зрел. Специалист, хоть сейчас назначай главным боцманом на любой корабль, бесшумный секретарь комсомольского бюро. А главное, душа открытая, прямая... Как это я сам раньше не задумывался, что пора ему в партию».

Донцов почувствовал себя неловко от того, что командир медлит с ответом.

— Я охотно за вас поручусь, — сказал Высотин. — Хороший вы человек. — И когда Донцов вышел, Высотин, обращаясь к Парамонову, сказал:

— Вот неправ я, может быть. А как с таким расстанешься? Да и не только с ним. Верно говорят: какой палец на руке ни отруби, одинаково больно. — Подумав немного, вздохнув, он добавил: — Так кого же, Николай Николаевич, отдадим Золотову? Может, вы уже продумали, есть метки?

Парамонов достал из кармана блокнот, вырвал из него два листка.

— Посмотрите.

Высотин закрыл листки ладонью. Улыбнулся, протянул Парамонову руку. Тот пожал ее. «Друзья мы с тобой, замполит, до гроба», — казалось, говорил взгляд Высотина.

— Ну, замполит, — сказал Высотин, — много еще у нас с вами работы впереди. Многих еще моряков вместе вырастим. Не отдам я вас Золотову. Ей-богу, не отдам! Ни за какие коврижки. Да и как мне без вас?.. Это, значит, правую руку отдать. Вы как, крепко у Звенигорова протестовали? Сильно он на вас нажимал?

— Нет, Андрей Константинович, — сказал Парамонов. — Начальник политотдела только советовался со мной. Положение дел объяснял. Я сам дал согласие.

— Вы?!

— Что же тут удивительного? «Адмирал Ушаков» — борабль большой, люди на нем новые.

— Как же, повышение! — горько заметил Высотин. — А о «Державном» вы и не подумали.

— Не в повышении дело, Андрей Константинович! На «Державном» я, как и всякий другой, не незаменимый человек. Мой опыт Озеров, Донцов уже переняли. А с вами ведь мы одними мыслями жили.

Высотин, однако, уже не слушал Парамонова. Теперь весь их разговор, и горячность Парамонова, и особенно то, что он заранее составил список, предстали перед ним в другом свете.

— Отрезанным ломтем себя чувствуете, Николай Николаевич, — оборвал Высотин, — с этих позиций и рассуждаете. Не ожидал я этого от вас. Ладно, идите, сплском я займусь сам.

Парамонов молча вышел. Первый раз за все время совместной службы замполит не понимал своего командира и был в обиде на него.

## 10

В эту ночь заснуть Высотин не мог. Он лежал на койке с открытыми глазами, думал о своем разговоре с Парамоновым и курил папиросу за папиросой.

Когда раздражение отлегло, ему стало стыдно за свою несдержанность. Он слишком хорошо знал Парамонова, его взгляды, чувства, характер, чтобы сколько-нибудь длительно время считать, что замполита уже не беспокоит дальнейшая судьба «Державного». Он слишком верил Парамонову, чтобы сомневаться в чистоте любого его поступка.

«Почему это нужно, — думал Высотин, — чтобы к Золотову пошел замполитом именно он, а не кто-нибудь другой, что могло убедить Парамонова в необходимости этого?»

Высотин стал медленно, последовательно припоминать все свои разговоры с Парамоновым. Он искал ключ к тому, что объяснило бы ему до конца не только поступок замполита, но и приказ командующего и спокойную убежденность Золотова.

«Заглянем в будущее» — это была любимая фраза Парамонова. Он произнес ее, когда они, создавая первые отличные отделения, думали об отличном корабле. Что ж, теперь он скажет точно так же Золотову. «Нет, нет, — думал Высотин, — не то, я не отсюда должен начать. Надо найти какую-то другую, большую вышку».

«Что такое «Державный» с точки зрения флота? То же, что для меня отличное отделение. Вот, вот... — Он почувствовал, что, наконец, стал на правильный путь. — Я, не задумываясь, переведу, например, отличного наводчика из одного расчета в другой, чтобы скорей сделать стлчной

всю боевую часть. А командир расчета может, пожалуй, протестовать: для него его расчет — цель, для меня — средство. Так значит, я стою сейчас на точке зрения командира расчета... Отличное соединение, флот, на котором служат одни отличники, — вот к чему стремится командующий. Если так посмотреть, Парамонов нужней на «Адмирале Ушакове». Может быть, я и сам буду завтра нужней где-нибудь на другом флоте, на другом море».

Высотин удивился тому, что с таким трудом пришел к этому простому и естественному выводу, и, подумав, еще больше удивился тому, что, конечно, этот вывод вовсе не был для него новым и что именно с этой точки зрения он уже не раз оценивал деятельность других командиров.

«Как же я мог это упустить? Неужели думал только о себе, о собственном спокойствии?»

Высотин вскочил с койки. Подойдя к столу, стал читать оставленные Парамоновым листки. Он не нашел там ни одной фамилии из тех, кто был не просто отличником, но и организатором, душой всех нововведений на корабле. В первую минуту это обрадовало его, но уже в следующую он понял: «Не решился замполит быть последовательным до конца».

Высотин сел за стол, задумался, немного поколебался, зачеркнул одну из фамилий и размашисто написал: «Старшина первой статьи Донцов». Пусть и комсомольский во-жак идет полпредом от «Державного»!

Высотин наново перечитал список, и ему захотелось еще раз увидеть тех, с кем доведется расстаться, и тех, с кем будет еще долго служить. Он вышел из каюты и направился в кубрик.

Тускло светились на подволоках маленькие лампочки. Люди в кубриках спали, и их сонное дыхание напоминало приглушенный разговор, ведущийся сразу на нескольких языках. Над головой Высотина похрапывал матрос, уткнувшись в подушку, кто-то рядом повторял во сне все быстрее и быстрее одну и ту же фразу: «Не приду, не приду, а приду, запою». Закашлял какой-то отчаянный курильщик. Большинство, однако, спало тихо, чуть слышно дыша, как дышат во сне дети.

Остановив жестом руки дежурного по низам, собиравшегося следовать за ним, Высотин подошел к разговаривающему во сне матросу. Тот едва уместился на подвесной койке, босые ноги по щиколотку высывались за ее край, свешивалась длинная рука. На одежде Высотин увидел свернутый в трубку лист бумаги. Высотин взял руку спящего, положил ее ему на грудь. Матрос заворочался, замолчал, резко поджал под себя ноги и повернулся на бок. Белая бумажная трубка покатилаь и упала на палубу. Высотин поднял ее и развернул: ноты. Петров сочинял перед сном. Корабельный композитор... Сейчас он еще остается, а скоро по демобилизации уйдет. «Может быть, придется еще на концерте его послушать», — подумал Высотин.

На нижней койке спал Стебелев. Губы у него были поджаты, брови нахмурены, волосы всклокочены, будто сердился на кого и так и заснул. Высотин смотрел на матроса долго, пока тот не начал шевелиться. «Самый трудный ребенок — самый дорогой». Рядом со Стебелевым — койка Васи Мошкина. И этот хорош: взбалмошный, веселый, всегда кипящий, как самовар. Тоже в своем роде знаменитость — близкий друг знатных людей по всей стране.

Видно, волну принесло с океана — чуть закрипели переборки, койки стали раскачиваться. Высотину теперь уже хотелось заглянуть во все лица.

«Кто это там не спит, приподнялся на локте и неотрывно смотрит в лицо рядом лежащего товарища?»

— Почему не спите, Ташыбаев? — Высотин сел на край койки. — Лежите, лежите!

— С другом последнюю ночь вместе.

Раскинув руки, ровно и глубоко дышит Донцов.

— Спасибо, товарищ командир, за все, за книги тоже спасибо.

— Не за что. Просто память о себе хотел у вас оставить.

— Память, товарищ командир, у меня крепкая, — тихо и твердо говорит Ташыбаев, — отца помню в юрте, учителя — в школе, вас — на корабле.

— У вас, кажется, так говорят, — спросил Высотин: — «У кого память крепкая, для того разлуки нет?»

— Верно, товарищ командир! Да и знаю я, что еще увижу вас! Вы тогда адмиралом, наверное, будете.

— А вы, Ташыбаев, — Высотин улыбнулся, — командиром корабля. — Он протянул Ташыбаеву руку, тот по-рыбисто пожал ее.

— Спите... — сказал, уходя, Высотин.

Потом он заглянул через полуоткрытую дверь в каюту боцмана. Могучее тело Головенченко живописно разметалось по койке, грудь ходуном ходит, от сильных вдохов и выдохов шевелятся усы. «Эпическая фигура, прямо из Гоголя, запорожец», — залюбовался Высотин. Постоял немного и пошел по коридору.

У самого входа в другой кубрик спали еще не знакомые Высотину, только сегодня прибывшие из флотского экипажа матросы.

Оттого ли, что все они были острижены под машинку, оттого ли, что свет в этом кубрике был особенно тусклый и на спящих матросов падала тень, но все они показались ему одинаковыми. «Будто все на одно лицо», — подумал Высотин. Он не удержался от искушения и включил карманный фонарик. Заворочался и прикрыл тонкой рукой глаза черноголовый, мальчишеского вида матрос, а его сосед, рослый белообрый парень, приподнялся на койке. Высотин убрал фонарь. «До чего же на Донцова похож, — подумал Высотин о белообрый, — а черноволосый, пожалуй, похож на Ташыбаева. Земляки, наверно». Он еще раз окинул взглядом фигуры спящих матросов и поймал себя на том, что ищет в них сходства с теми матросами, которые должны завтра уйти с корабля.

Теперь уже эти новые, не знакомые еще ему люди стали ближе, роднее.

Возвращаясь к себе Высотин спокойный и умиротворенный, и заботы наступавшего дня в обычном деловом порядке предстали перед ним. Он был отцом многочисленного семейства. И, как всякий отец, переживал тяжело разлуку со своими детьми, радовался или печалился за них, но прежде всего, каковы бы ни были его настроения и чувства, должен был заботиться о завтрашнем дне всей семьи.

Проходя мимо каюты Парамонова, Высотин остановился. Ему захотелось сейчас зайти и рассказать обо всем, что он пережил, своему ближайшему другу, которого он обидел сегодня несправедливо и жестоко. Высотин прислушался. До него донеслось только ровное дыхание спо-

койно спящего человека. «Не стану его будить. Утром все ему расскажу», — подумал Высотин.

Но в этот момент напротив распахнулась дверь каюты старшего помощника, и в коридор вышел Кипарисов.

— И вы, товарищ командир, не спите? — спросил он удивленно.

— Как видите.

Кипарисов помолчал, о чем-то раздумывая, и вдруг сказал:

— Между нами недавно был очень тяжелый, глубоко взволновавший меня разговор. Я хотел бы, чтобы вы выслушали меня.

Лицо у Кипарисова было измученное, под глазами мешки, он выглядел намного старше своих лет.

— Хорошо. — Высотин вошел в каюту Кипарисова. — Я слушаю вас.

— Очень тяжелый, очень неприятный разговор, — повторил Кипарисов. Он прошелся по каюте.

Высотин, недоумевая, поглядел на Кипарисова.

— Мне кажется, Ипполит Аркадьевич, что всякий разговор приятен или неприятен не по тому, как он шел, а по тем последствиям, которые он вызвал, — сказал Высотин устало. Он подошел к столу Кипарисова, сел в кресло. Ему бросился в глаза лежащий на столе под стеклом листок бумаги с выписанным на нем изречением Нельсона: «Нельзя быть хорошим морским офицером, не соединяя в себе практических знаний матроса и благородных привычек джентльмена». «Вот еще чем, однако, увлекается мой помощник!» — подумал неприязненно Высотин.

— Я остаюсь на «Державном», — сказал Кипарисов. — Но какая это будет служба, если вы мной постоянно недовольны?

— Служите так, чтобы я и весь коллектив вас высоко ценили, — сказал Высотин и подумал, что этот разговор — повторение пройденного.

— Но как?... — Кипарисов все-таки не понимал до конца, почему он, знающий дело моряк, оказался таким одиноким. — Я, наверное, плохой человек — эгоист, формалист, что там еще...

— Не надо так, — сказал Высотин. — Будем спокойней.

— Нет, вы не знаете всего, Андрей Константинович!

— В этом и нет необходимости... Я, видите ли, много думал о вас, изучал вас, и мне кажется, что теперь знаю достаточно.

— Что же, говорите. — Кипарисов поморщился. «Больше того, что я сам знаю о себе, никто не знает», — мелькнула у него мысль.

— В семье интеллигентной, не лишенной мелкобуржуазных предрассудков, — продолжал Высотин, — вы — единственный обожаемый сын. В училище — отличный ученик, но не комсомолец, не общественник и даже немного сторонящийся товарищей. Любимые герои ваших детских книг — благородные офицеры из старых дворянских романов. Вы всегда были, как говорят, в общем и целом верны воинскому долгу и честно прошли войну. Превосходно изучили свою профессию и считали, что одного этого достаточно, чтобы быть передовым советским человеком. Даже вступая в партию, вы не позаботились о том, чтобы проверить себя, пересмотреть свои взгляды всесторонне.

— Но, позвольте!.. — Кипарисов поднял руку. — Откуда вы знаете?

— Откуда я знаю? Достаточно знакомства с вами, с вашей анкетой, вашей библиотекой. А это, — Высотин ткнул пальцем в лежащую под стеклом выписку из Нельсона. — Не джентльменом, даже в самом лучшем, идеализированном вами смысле слова, вы должны стремиться быть, а коммунистом. Я уже не говорю о том, что большинство этих джентльменов во все века были грабителями и убийцами. Поймите, что немислимо пытаться соединить в одно целое нашу, по-настоящему благородную мораль с этой трухлой.

Кипарисов был ошеломлен.

— Значит, вы считаете, что я плохой офицер, никудышный воспитатель? — спросил он тихо.

— Да, пока плохой. Но вы можете еще стать хорошим, если очень захотите. Ошибаются, Ппполит Аркадьевич, многие, но одни умеют исправлять свои ошибки, другие... я не хотел бы, чтобы вы принадлежали к числу других.

Кипарисову трудно было сразу осознать все, что говорил Высотин. Но он уже понимал, что оправдываться было бы бессмысленно и глупо.

Он молчал, не поднимая глаз на командира.

— Помните, — сказал Высотин, уходя, — я буду с вас требовать больше, чем с кого-нибудь другого.

## 11

Анна проснулась с мыслью о Высотине. Она присела на кровати, вспомнила его таким, каким он был вчера у Золотовых — вначале радостным, счастливым, а потом взъерошенным, гневным и немного растерянным. «О чем он думал? Что переживал, когда ушел?»

Анна вдруг почувствовала, что этот человек ей бесконечно дорог.

— Андрей, — прошептала она, — да ведь я тебя люблю... Люблю! — уже громко сказала она, собрала к затылку растрепавшиеся за ночь и упавшие прядями на лоб волосы. Ей показалось, что он где-то рядом, что он слышит ее. Анна рассмеялась, вскочила с кровати, раздвинула занавески на окне.

«Когда же это произошло? — думала она, одеваясь. — Вчера... или в тот вечер на балконе? Нет, раньше, гораздо раньше. Когда он первый раз пришел ко мне в Белых Скалах? Когда провожала его на учебу? Нет, еще, еще раньше». Теперь, когда Анна пыталась определить день начала своей любви, она уходила мыслями все дальше и дальше в прошлое, вплоть до первой встречи с Высотиным. «А Сережа, как он?» — подумала Анна. Но сегодня эта мысль не испугала ее. Чувство ее созрело, и теперь она уже была уверена, что все, что оно принесет с собой, будет хорошим и правильным. «Я — мать и сделаю все, чтобы Сережа полюбил Андрея, как отца...»

Анна поспешно умылась, причесалась и выбежала в столовую. Наташа уже ждала ее с завтраком.

— Я не хочу есть, Наташа!

— Что это с тобой? — Наташа подозрительно посмотрела на сестру.

— Спешу, спешу, Наташенька! — почти пропела Анна. Она закружила Наташу по комнате, расцеловала

Сережу и, схватив пальто, даже не захлопнув за собой дверь, выбежала на крыльцо.

Наташа выглянула в окно. Анна шла, застегивая пальто на ходу.

Наташа молча покачала головой, посадила за стол Сережу и стала уговаривать его есть кашу. Сейчас она казалась себе старше и солидней своей сестры.

## 12

Медленно кружась в воздухе, будто осторожно выбирая себе место, падали снежинки. Они опускались на землю в одиночку, на некотором расстоянии друг от друга, и белыми островками покрывали каменистый берег; потом пространство между островками все уменьшалось и уменьшалось, и все покрыла снежная пелена. В волнах снежинки исчезали мгновенно, океан поглощал их с непостижимой быстротой, и насытить его было невозможно.

Высотин, Парамонов и Золотов, который пришел, чтобы принять людей, стояли рядом у сходней «Державного». Для всех троих он был родным кораблем. «Был, есть и будет, куда бы ни забросила судьба», — подумал Высотин. Он обернулся к Золотову; тот, видимо, отвечая своим мыслям, кивнул ему головой. Парамонов смотрел на своих командиров — старого, который скоро станет для него опять новым, и еще недавно нового, с которым он расстанется, как со старым другом.

По берегу медленно, оглядываясь, шли моряки с «Державного» на «Ушакова». Снежинки кружились над ними, плотным слоем ложились на крышки брезентовых чемоданов.

— Первый снег! — сказал Высотин. — Первый месяц зимней учебы.

— Да, все дела и дела. Погрустить — и то некогда. — Золотов улыбнулся. — Ну, бывайте, Андрей! — Он сбежал по сходням, догнал матросов и пошел рядом с Доцковым, о чем-то разговаривая.

Высотин долго провожал их взглядом. Снег покрыл его погони, капли талой воды стекали по козырьку. Так же неподвижно стояли Парамонов, Озеров, Гаранин, Махотин и Плакуша. Боцман сдвинул мичманку на лоб, почесал затылок, вздохнул и скрылся в люке.

Тонкая ледяная корка покрывала палубу. Город вдали вставал причудливым видением в снежной крутоверти.

И вдруг Высотин увидел прямо перед собой Анну. Она шла к пирсу, приветливо махая Высотину рукой, будто ловила снежинки.

Он сбежал ей навстречу.

— Я пришла к тебе, Андрей, — сказала Анна.

Он не знал, что ответить, только смотрел на нее, ничего не видя, кроме ее счастливых глаз. Потом вытащил из кармана обитую бархатом коробочку, вынул из нее кольцо.

— Что это? — удивилась Анна.

Высотин показал на камень, вспыхнувший синим пламенем.

— Это местный самоцвет, который нашли в далекой гавани, — сказал он. — Я хотел подарить его тогда, в день твоего рождения...

— Спасибо, — сказала Анна. Потом провела рукой по шинели Высотина, сказала в кулак комок снега.

— Зима... А как пахнет весной, Андрей..



\* \* \*

Прошла суровая зима с вьюгами и метелями, и снова в Белых Скалах наступил май. Шумели весенние дожди. Горели радуги во все небо. И все на земле, что могло расти и цвести, потянулось к солнцу, дружно зазеленело и расцвело. Звон и шорох стояли в тайге, в светлых просеках гуляли сквозняки, раскачивая телеграфные провода. На темных и жестких ветвях кедров и сосен появились молодые побеги, зелено-желтые и нежные, как птенцы. Даже на каменистых бесплодных осыпях запахло душистым чебрецом; между камней появились кустики горных фиалок.

В океане все еще держалась неустойчивая погода. Там сталкивались, борясь друг с другом, холодные и теплые ветры. Ходуном ходили штормовые волны, ветер срывал с их гребней пену и стлал ее полосами.

В яркий майский день корабли уходили в далекое плавание. Один за другим они покидали гавань. Базальтовые скалы, словно большие крылья, взметнувшись над водой у входа в гавань, проплывали мимо, открывая далекую перспективу океанского простора.

С торжественными, просветленными лицами стояли вахтенные на палубе «Державного». Щуря на солнце глаза и покручивая ус, довольно улыбался боцман. Плакуша дышал так глубоко, будто хотел вобрать в себя весь воздух над океаном. Вытянув голову, Петров точно прислушивался напряженно к шуму волн, улавливая в нем какую-то новую мелодию.

Высотин, обернувшись к стоявшему рядом с ним на мостике Озерову, сказал:

— Ну, вот, дорогой замполит, выходим в океан. Какое на душе?

— Празднично, Андрей Константинович, у всех празднично! — Озеров указал рукой на вахтенных, боцмана, Петрова, Плакушу...

В безоблачном небе пылало солнце, пробивая лучами то разверзающуюся, то вновь смыкающуюся толщу океанской пучины.

— Океан, — продолжал Озеров, — какая в нем неистощимая сила, какой исполинский размах! В такие дни по-особенному ощущаешь счастье быть моряком!

Высотин подумал, что и его чувства можно выразить теми же словами. «Совсем как с Парамоновым», — мелькнула у него мысль. Он с удовольствием окинул взглядом собранную, подтянутую фигуру молодого замполита.

В походном порядке между «Ушаковым» и «Дерзновенным» шел, тяжело давя и ломая волны, флагманский корабль.

Серов и Звенигоров смотрели в сторону берега.

Раскинувшийся среди сопек город все отдалялся. Темным пятнышком казалась группа офицеров на пристани, а вскоре и это пятнышко затерялось среди других; стали похожими на иглы заводские и фабричные трубы; крыши домов слились в одно сплошное пестрое поле, и только на самой высокой сопке, господствующей над окружающей местностью, виден был среди зелени залитый солнцем мраморный монумент. Великий Ленин простертой рукой указывал на океан.

— Партия нас ведет! — сказал Звенигоров; он поднял глаза на контр-адмирала.

— Итти самым полным! — отдал приказ Серов.

На флагманском корабле подняли сигнал, и все корабли отретировали приказ адмирала.

*Таллин — «Малеевка»  
1950—1953 гг.*

Редактор *В. Ильинков*

Подписано к печати 1/VIII 1953 г. А 03643.

Тираж 500 000.

Бумага 84×108<sup>1/16</sup>==

2,5 бум. л. — 8,2 печ. л. Учетно-авт. л. 12,9. Заказ № 743.

2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

*Вышли из печати*

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СССР

- Баширов Г. Б.* Честь. Роман. Авторизованный перевод с татарского.  
М. 348 стр. 7 р.
- Богданович М. А.* Избранные произведения. Перевод с белорусского.  
М. 296 стр. 3 р. 45 к.
- Богусевич Ф. К.* Избранное. Перевод с белорусского.  
М. 112 стр. 3 р. 55 к.
- Бядуля Эмитрак.* Избранное. (Повести, рассказы, статьи и воспоминания),  
Перевод с белорусского.  
М. 640 стр. 11 р.
- Васильченко С. В.* „Мужицкая арифметика“ и другие рассказы. Перевод с  
украинского.  
М. 80 стр. 75 к. Массовая серия.
- Венцлова Антанас.* Стихотворения. Перевод с литовского.  
М. 224 стр. 5 р. 30 к.
- Ибрагимов Мирза.* Наступит день. Роман. Перевод с азербайджанского.  
М. 468 стр. 9 р. 10 к.
- Кеминэ.* Стихотворения. Перевод с туркменского.  
М. 80 стр. 3 р.
- Купала Янка.* Избранные произведения в двух томах. Перевод с белорусского.  
Том I. Стихотворения. М. 539 стр. 11 р. 55 к.  
Том II. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. М. 495 стр. 10 р. 75 к.
- Леберехт Ганс.* Повести. (Свет в Коорди. В дороге).  
М. 336 стр. 6 р. 90 к.
- Мирный Панас.* Избранные произведения. Перевод с украинского.  
М. 767 стр. 14 р. 60 к.
- Нерис Саломей.* Стихотворения и поэмы. Перевод с литовского.  
М. 204 стр. 5 р. 50 к.
- Скляренко С. Д.* Карпаты. Роман. Авторизованный перевод с украинского.  
М. 448 стр. 8 р. 60 к.
- Сундукян Г. М.* Избранное. Перевод с армянского.  
М. 359 стр. 7 р. 65 к.
- Шевченко Т. Г.* Лирика и поэмы. Перевод с украинского.  
М. 120 стр. 1 р. 25 к. Массовая серия.
- Эмин Геворк.* Весенние воды. (Стихи). Авторизованный перевод с армянского.  
М. 183 стр. 4 р. 90 к.
- Янонис Юмос.* Избранное. Перевод с литовского.  
М. 152 стр. 3 р. 15 к.



